

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ,
МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ**

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

С.Л. ПОПОВ

**КОГНИТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ
ЭВОЛЮЦИИ ФОРМ РУССКОГО
СИНТАКСИЧЕСКОГО
СОГЛАСОВАНИЯ**

Харьков
2013

УДК 811.161.1'38'367
ББК 81.2 Рус-5
П58

*Рекомендовано к печати ученым советом
филологического факультета
Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина
(протокол № 7 от 15.02.2013 г.)*

Научный редактор:

И.И. Степанченко, доктор филологических наук, профессор
(Харьковский национальный педагогический университет
имени Г.С. Сковороды).

Рецензенты:

А.Т. Гулак, доктор филологических наук, профессор (Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды);

Л.Н. Пелепейченко, доктор филологических наук, профессор (Академия Внутренних войск МВДУ);

В.Е. Штыленко, кандидат филологических наук, доцент (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет).

Попов С.Л.

Когнитивные основания эволюции форм русского синтаксического согласования: Монография / Сергей Леонидович Попов.
П 58 – Харьков: НТМТ, 2013. — 150 с.
ISBN 978-617-578-126-5

В монографии рассматриваются причины и условия исторических изменений форм синтаксического согласования в русском языке. Особое внимание уделяется важному для этого аспекта грамматики данным смежных с лингвистикой наук: психолингвистики, детской психологии, онтолингвистики, приматологии, этнопсихологии, этнолингвистики, когнитивной психологии, нейрофизиологии и нейролингвистики.

Книга предназначена для филологов, в особенности для корректоров и литературных редакторов, преподавателей и учителей русского языка, а также для всех, кто интересуется вопросами языкового развития и грамматической вариантности.

ISBN 978-617-578-126-5

УДК 811.161.1'38'367
ББК 81.2 Рус-5

*Светлой памяти моего Учителя,
профессора Валерия Матвеевича Шевелева*

ОТ АВТОРА

Решение о создании этой книги, в целом претендующей на некоторые теоретические обобщения, в основном обусловлено практическими потребностями корректорско-редакторской деятельности, необыкновенно востребованной в эпоху расширения возможностей компьютеризированного издательского процесса. Преподавая русский язык на филологическом факультете Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина и работая корректором и литературным редактором в издательствах и редакциях периодических изданий, автор испытывал всевозрастающий интерес к вопросам выбора правильного или ситуативно уместного варианта русской грамматической нормы. Он имел возможность на практике убедиться в том, что грамматические положения справочников и учебников по практической стилистике русского языка, созданных, как правило, не одно десятилетие назад, не только иногда противоречат реальному или современному употреблению грамматических вариантов, но и не всегда содержат убедительные аргументы в поддержку их дифференциации. В связи с этим особую значимость для автора приобрело изучение вопроса о механизме восприятия носителями языка грамматических вариантов и принятия решения при их выборе в речевой ситуации.

Необычность предпринятого автором исследования в такой «классически языковой» сфере, как грамматическая вариантность, заключается в привлечении им сведений смежных с лингвистикой наук, под которыми понимаются науки и граничащие, и объединенные с ней. Именно к данным смежных наук — в полном соответствии с требованиями сложившейся в современной лингвистике антропоцентрической парадигмы — ведет поиск ответа на вопрос о сущности алгоритма восприятия грамматических вариантов, в основном неосознанно реализуемого говорящим при выборе одного из них в качестве правильного или уместного.

Одним из итогов проведенных на текущий момент разысканий явилось осознание идентичности, но разной результативности развития перцептивно-когнитивной и языковой способностей у современного цивилизованного ребенка, антропоида, первобытного человека и современного цивилизованного взрослого. Этот аспект и представлен в настоящей монографии — с ограничением материала, подтверждающего языковую способность, русским синтаксическим согласованием как наиболее явно демонстрирующим указанные идентичность и результативность в диахронии.

Автор выражает искреннюю признательность:

своему научному консультанту — доктору филологических наук, профессору Ивану Ивановичу Степанченко за полные ученой мудрости советы и рекомендации, а также за поддержку идеи создания этой книги;

кандидату филологических наук, доценту, заведующему кафедрой русского языка филологического факультета Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина Людмиле Вадимовне Педченко за ценные научные замечания, позволившие автору внести в текст ряд содержательных исправлений;

замечательному филологу и редактору-энциклопедисту Алексею Сергеевичу Кузнецову за конструктивную критику, благодарная реакция на которую позволила улучшить качество рукописи, и за дружескую помощь в ее оформлении;

заслуженному экономисту Украины, Ph.D. in Economics, члену-корреспонденту АЭНУ и МКА, члену Совета предпринимателей при КМУ, шеф-редактору журнала «Бухгалтер» и в высшей мере развитой языковой личности Александру Викторовичу Киришу за созданную им в редакции атмосферу грамотности, работа в которой автор обрел научный интерес к вариантности русской грамматической нормы.

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ. ЯЗЫКОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ, СИНТАКСИЧЕСКОЕ СОГЛАСОВАНИЕ И СМЕЖНЫЕ НАУКИ

Идея эволюции (развития, прогресса) языков не относится к числу аксиом. Это вызвано, по меньшей мере, тремя причинами.

Во-первых, неаксиоматичность данной идеи в такой ее разновидности, как неприятие идеи дальнейшей (от текущего момента) эволюции языка, обусловлена трудностью восприятия перемен в такой медленно изменяющейся коммуникативной системе, как язык. Каждое поколение носителей языка в основной своей массе склонно считать, что именно при его жизни язык достиг идеального и потому окончательного развития. Например, Французская Академия, созданная по инициативе кардинала А. Ришелье в 1635 году, приступая к разработке первого в истории лингвистики нормативного словаря, по выражению К.С. Горбачевича, «ставила перед собой несбыточную задачу упорядочить язык «раз и навсегда» [Горбачевич 1989: 23]. В 1911 году один из первых русских ортологов, продолжатель традиции, заложенной «Российской грамматикой» М.В. Ломоносова, В.И. Чернышев писал: «Чем ближе к нашему времени, тем больше стилистика удаляется из грамматик. Литературный язык считается вполне сложившимся; колебания допускаются все меньше и меньше; в школе неограниченную власть приобретает тот или иной учебник, иногда весьма далекий от идеального совершенства; в печати корректоры с большим упорством и непониманием портят язык и слог знаменитых писателей, воображая, что они «исправляют ошибки», переделывая их свободную русскую речь по плохим школьным грамматикам» [Чернышев 1970¹: 446]. В 1931 году, то есть в нелегкое время его политически смелого и имевшего для него трагические последствия противостояния псевдонаучной, но заполонившей умы «яфетической теории академика Марра», Е.Д. Поливанов призывал к созданию «общего учения об эволюции языка», которое ученый предложил назвать «лингвистической историологией» [Поливанов 1965: 328]. В 1964 году В.В. Виноградов акцентировал внимание на том, что «именно в плане научной теории о закономерностях развития системы того или иного живого языка и должны оцениваться новые явления в языке и отклонения от установившихся норм» [Виноградов 1964: 7]. В 1981 году Дж. Лайонз признавал: «До недавнего времени в нашем обществе было широко распространено представление, что любое языковое изменение ухудшает язык» [Лайонз 2004: 54], – тем самым, по меньшей мере, признавая, что такое представление уже в прошлом. Казалось,

акценты расставлены, идея «завершения развития языка» канула в Лету, однако в 1989 году, то есть через 78 лет после того, как об этом же писал В.И. Чернышев (см. выше), в третьем, исправленном, издании книги «Нормы современного русского литературного языка» (задуманной как книга для учителей) К.С. Горбачевич вынужден был констатировать: «В школьном преподавании не всегда учитывается диалектика языкового развития. Язык представляется как нечто статичное и неизменное, а его нормы – вечными и нерушимыми» [Горбачевич 1989: 5]. Известный американский психолог и психолингвист М. Томаселло, которого за повышенное внимание к социальному аспекту коммуникации называют «американским Выготским», очевидно невольно, лишь закрепляет столь трудноискоренимое заблуждение. В 2010 году во введении к очередной своей монографии он воспринимает современное состояние языков как счастливо сформировавшееся: «В данной работе развитие конкретных языков рассматривается скорее как культурно-историческое завершение, «венец» сформировавшейся в ходе биологической эволюции общей способности к кооперативной коммуникации» [Томаселло 2011: 25].

Во-вторых, невосприятие идеи эволюции языков объясняется категорическим непризнанием различий между их уровнями развития, поскольку это-де может задеть чувства носителей тех языков, которые в некоторых аспектах могут казаться несовершеннее других языков. Как с горечью замечает французский лингвист Б. Бичакджан, «гуманитарии не любят эволюции. Говорить об эволюции в лингвистике неполиткорректно. В биологии вполне корректно и полностью приемлемо говорить, что приобретение постоянной температуры тела было большим шагом вперед с точки зрения эволюции и что адаптивные преимущества теплокровности перевешивают выгоды предшествующего состояния холонокровности. Но если в лингвистике кто-то скажет, что переход от эргативности к номинативности является большим шагом вперед с точки зрения эволюции и что адаптивные преимущества номинативного синтаксиса перевешивают выгоды эргативной модели, на него немедленно набросятся, и набросятся с полной уверенностью в своей правоте» [Бичакджан 2008: 61]. Очевидно, известный лингвист имеет в виду явления западной политкорректности, характерные прежде всего для стран, в том числе имевших колонии или в качестве колоний начинавшихся, в которых европеоидное большинство, а иногда и меньшинство (как, например, в ЮАР) долгое время дискриминировало аборигенное население, вследствие чего в наше время уделяет не только повышенное, но и нередко преувеличенное внимание неповторению хоть в каком-нибудь виде неприглядного прошлого. Прогрессивность языковых изменений

постоянно фиксируют не только историки языка, имеющие дело с разными, отстоящими друг от друга во времени периодами жизни языка, но и другие лингвисты, в том числе прямо говорящие о языковой эволюции. Так, Л.К. Граудина считает, что «установление закономерностей эволюции литературного языка — одна из центральных задач в лингвистических исследованиях современного языка, которая нуждается в дальнейшем развитии» [Граудина 1996: 401], и в предисловии ко второму изданию труда «Грамматическая правильность русской речи. Стилистический словарь вариантов» (2001 г.) даже выделяет три типа языковой эволюции в зависимости от интенсивности ее протекания: низкодинамический, умереннодинамический и высокодинамический [Граудина, Ицкович, Катлинская 2001: 4–5].

Высказывания ученых иногда демонстрируют их приверженность идее неразрывной связи культурного и языкового развития. Например, согласно убеждению О. Есперсена, не скрывавшего своего восхищения высоким уровнем аналитизма английского языка, «если язык постепенно утрачивает окончания прилагательных и глаголов, которые указывали на их согласование с первичным словом, это не является для него потерей; наоборот, такую тенденцию следует считать прогрессивной, и полная стабильность возможна только в том языке, который покончил со всеми этими громоздкими пережитками далекого прошлого» [Есперсен 2002: 398]. Но из самого факта восхищения О. Есперсена, разумеется, не следует, что все языки должны стремиться повторить путь английского. Это, во-первых, невозможно в силу множества случайностей стихийного исторического развития языков, а во-вторых, вряд ли стоит труда, ведь перевозосимый О. Есперсеном аналитичный английский тоже не лишен коммуникативных недостатков. Например, отсутствие в нем флексий атрибутивов, с которыми этот язык, по эмоциональному выражению О. Есперсена, «покончил» как с «громоздкими пережитками далекого прошлого», не дает возможности понять, о каком отце — своем или чужом — идет речь в простейшем сочетании *my mom and dad* (чтобы прояснить это, приходится прибегать как раз к такому «громоздкому пережитку», как лексический повтор *my* перед *dad*), в то время как во флективном синтетическом русском такая возможность имеется: *моя мать и отец*, а если сказать *моя мать и отец* или *мой отец и мать* — можно подумать, что субъект, названный вторым, — чужой.

Л.П. Катлинская обосновывает возможный логический прогресс языка общественным развитием: «Если развитие языка — это не только изменение, но и эволюция (в соответствии с общественной эволюцией), то можно предполагать, что язык развивается в сторону логического

совершенства» [Катлинская 1977: 175]. Однако не всякое общественное развитие можно признать приемлемым, и далеко не всегда оно стимулирует развитие языка. Несложно прийти к мысли, что во избежание неполиткорректных суждений, провоцирующих политкорректные крайности, не стоит сопоставлять уровни развития языка и культуры. Как заметил в свое время Э. Сэпир, «лучше будет, если мы признаем развитие языка и развитие культуры несопоставимыми, взаимно не связанными процессами» [Сепир 1993: 193]. Б. Бичакджан подтверждает мнение Э. Сэпира красноречивым примером: «Япония – одна из наиболее технологически развитых стран мира, но японский язык, с его левым ветвлением, имеет определенно архаичный порядок слов» [Бичакджан 2008: 64].

Тем не менее принципиально важно понимать, что развитие языка и развитие культуры не стоит сопоставлять именно у культурно развитых этносов, например английского и японского, которые действительно имеют качественно разные достижения языковой эволюции: развитие языка может уступать в скорости развитию культуры, если язык сохраняет способность быть эффективной системой коммуникации и накопления знаний. Следует обратить внимание на то, что, например, научно-технический прогресс в Англии наблюдается несколько сотен лет, а в Японии — немногим больше века, и результаты этих прогрессов примерно одинаковы, в силу чего прогресс японского языка просто не может «поспеть» за стремительным прогрессом японского мышления. Если же какой-либо этнос отстает от этносов цивилизованных в культурном развитии, то, что бы ни говорили ревнители политкорректного несравнения языков, нет никаких оснований надеяться на то, что язык малокультурного этноса вдруг окажется лексически и грамматически развитым: сравнительно-историческое языкознание таких примеров не знает (если, конечно, не приписывать первобытным языкам загадочное и не как у всех развитое своеобразие, которым они вовсе не отличаются, если сравнить их с языками древними мертвыми и древними предками языков современных). Например, М.А. Кронгауз рассказывает в своей книге весьма показательную историю о том, что современные эскимосы и саами испытывают колоссальную проблему с номинациями животных, которые переселяются в полярные области с юга в связи с глобальным потеплением: в языках эскимосов и саами нет слов — названий этих животных, из-за чего при зрительном восприятии таких животных эскимосы и саами даже не могут сказать, кого они видят, и рассказать, кого они видели, например, на охоте [Кронгауз 2009: 9–10]. Из этого следует, что язык от культуры зависит, но культура от языка — вряд

ли. Такая составляющая культуры, как логическое мышление, функционируя стихийно и прогрессируя вместе с культурой, очевидно, не может не оказывать влияния на язык, тем самым каузируя его эволюцию.

Не вполне утвердившаяся на сегодняшний день идея логического прогресса языка часто подкрепляется таким заметным при восприятии логичным явлением, как языковая экономия. Мысль о корреляции идей языковой экономии и языковой логичности оформилась не сразу. Если А. Мартине еще видит действие «принципа экономии в языке» в виде стремления, которое противоречит потребностям коммуникации и в этом с ними противоречии приводит к языковым изменениям: «Постоянное противоречие между потребностями общения человека и его стремлением свести к минимуму свои умственные и физические усилия может рассматриваться в качестве движущей силы языковых изменений» [Мартине 1963: 532–533], — то, по мнению Ю.Д. Апресяна, «логически язык тем совершеннее, чем меньше доля выражаемой в высказывании обязательной информации, вынуждаемой исключительно правилами кодирования, а не существом сообщаемого» [Апресян 1966: 84]. Аналогичным образом рассуждает Л.П. Катлинская: «Язык — средство общения. Жизнь общества — это, в частности, непрерывный процесс накопления информации, развитие которого идет с ускорением. Синхронно растущие потребности в обмене этой информацией вызывают естественное стремление к экономному использованию языка-кода» [Катлинская 1977: 174–175]. Отмеченные логическое совершенство экономности и естественность стремления к экономии и выводят лингвистов на идею логичности языкового развития. Предлагается даже понятие «логически идеального языка», хотя и признаётся, что в силу перманентной избыточности языкового кода этот идеал недостижим [Там же: 176].

В-третьих, непризнание идеи языкового развития связано с еще большими и с современной точки зрения неожиданными заблуждениями. Так, одни из первых представителей сравнительного языкознания Ф. Бопп [Бопп 1964: 35] и затем А. Шлейхер [Шлейхер 1964: 108] были убеждены в том, что каждый живой язык пережил период расцвета в древности, после чего деградирует. Представители же социологического направления, например Ж. Вандриес [Вандриес 1964: 455], сравнивали изменяющуюся морфологию с бесконечно встряхиваемым калейдоскопом (см. об этом также [Звегинцев 1954: 12–13]).

Вместе с тем, даже абстрагировавшись от приведенных выше причин и мнений, любой современный носитель русского языка способен воспринимать языковые изменения при чтении классической и научной,

в том числе ортологической, литературы. При этом он может видеть изменения не только на лексическом и фонетическом уровнях, но и на грамматических уровнях словообразования, морфологии и синтаксиса, то есть в той языковой сфере, в которой изменения традиционно считаются самыми медленными из всех языковых.

Так, читатель отметит, что вместо пушкинского *совершенно* в примере *Он по-французски совершенно Мог изъясняться и писал* сейчас употребили бы что-нибудь вроде *очень хорошо* или поменяли бы конструкцию на *Он в совершенстве владел французским*. Согласно замечанию Л.В. Щербы, «Пушкин для нас еще, конечно, вполне жив: почти ничто в его языке нас не шокирует. И, однако, было бы смешно думать, что сейчас можно писать в смысле языка вполне по-пушкински». На пушкинских примерах ученый, в частности, показывает, что еще в первой трети XIX века слово *любownik* имело значение 'влюбленный', а *игривый* — значение 'оживленный, веселый' [Щерба 1957: 135-136].

Читатель – наш современник в свою очередь заметит, что в высказывании Л.В. Щербы странным выглядит сочетание *вполне по-пушкински*, вместо которого привычнее было бы сказать просто *по-пушкински* или как *Пушкин*, то есть без *вполне*.

Современный читатель обратит внимание на то, что в словах булгаковского Швондера *Мы знаем об его работах*, равно как и в предложении из работы С.П. Обнорского 1944 года *В отношении русской орфоэпической системы не приходится говорить об ее неустойчивости* [Обнорский 1960: 253], предлог *об* смотрится и звучит странно — сейчас перед [j] этот предлог достаточно употребить только в виде *о* (также нельзя не заметить состоявшуюся в современном русском языке замену борменталевского *третьего дня* на *три дня назад*). В примере из работы С.П. Обнорского читатель обратит внимание и на то, что сейчас конструкции *в отношении чего-либо* и *о чем-либо* не употребляются в одном простом предложении применительно к одному и тому же объекту — сегодня мысль С.П. Обнорского была бы передана, например, как *В отношении русской орфоэпической системы можно прийти к выводу, что говорить о ее неустойчивости не приходится* (но это было бы неоправданно громоздко), или как *Что касается русской орфоэпической системы, то о ее неустойчивости говорить не приходится*, или как *О неустойчивости русской орфоэпической системы говорить не приходится*. На этой же странице работы С.П. Обнорского читатель обнаружит предложения *Впрочем, научное изучение русской орфоэпии только начато. Сюда принадлежат* главным образом труды В.И. Чернышева [Там же] (несовременность отмеченного сочетания в комментарии не нуждается).

Неподготовленного читателя озадачит, что В.В. Виноградов (в статье тоже 1944 года) употребляет слова *сознание* (в процессуальном значении), *тождество* и *неисследованность* (*вопроса*) [Виноградов 1975: 47–48], вместо которых сейчас применяются соответственно *осознание*, *тождество* и *неисследованность*.

Прочитав одни лишь названия таких трудов, как [Келер 1998; Выготский, Лурия 1993], современный читатель догадается, что в первой половине XX века в научном дискурсе антропоидов называли обезьянами не человекообразными, а *человекоподобными*, а первобытного человека, не преследуя цели его оскорбить, именовали *примитивом*.

Наконец, штудирюя до сих пор популярную «Практическую стилистику русского языка» Д.Э. Розенталя, читатель с удивлением обнаружит рекомендацию использовать единственное число атрибутива, согласующегося с такими сочетаниями, как *отец с матерью*, то есть применять *мой отец с матерью* (где мать выглядит не самостоятельным субъектом, а пассивно находящимся при отце, к тому же не обязательно приходившимся говорящему матерью) и не употреблять *мои отец с матерью* [Розенталь 1977: 220]. В этом учебнике читатель озадаченно воспримет и рекомендацию из вариантов типа *изучались математика и химия* — *изучались математика и химия* использовать только первый, поскольку сказуемое находится в препозиции к подлежащим [Там же: 209] (то есть неважно, что подлежащих два, — важно, но не объясняется, почему, что сказуемое находится в препозиции). Современному носителю языка наверняка покажется, что в приведенных примерах множественное число отмеченных слов логичнее единственного хотя бы потому, что в них по два субстантива, требующих согласования во множественном числе, а не в покинувшем русский язык двойственном и тем более не в логически неприемлемом при двух и более субстантивах единственном числе.

Именно варианты синтаксического согласования, которые своей статусной гибкостью наиболее наглядно демонстрируют происходящие в грамматике изменения, являются объектом внимания в настоящей работе, которая в целом выполнена в духе соответствия требованиям когнитивной лингвистики. Данное лингвистическое направление является частью когнитивной науки, которую один из основателей когнитивной лингвистики Дж. Лакофф в 1987 году назвал новой областью исследований, «которая объединяет то, что известно о разуме и мыслительных способностях человека из многих научных дисциплин...» [Лакофф 2004: 9]. В рамках данного научного направления когнитивную лингвистику закономерно интересует соотношение языка и мышления: «...конечной целью описания языка в рамках когнитивной лингвистики является уста-

новление соответствий между языком и когнитивным представлением» [Кибрик 2005: 51]. Это общее положение в самой когнитивной лингвистике конкретизируется следующим образом: «В основе современного когнитивного подхода к языку лежит идея целенаправленной реконструкции когнитивных структур по данным внешней языковой формы. Реконструкция опирается на постулат об исходной когнитивной мотивированности языковой формы: в той мере, в какой языковая форма мотивирована, она «отражает» стоящую за ней когнитивную структуру. Этот постулат является базовым, он противопоставлен постулату де Соссюра о произвольности языкового знака. Идея Соссюра глубоко укоренилась в сознании лингвистов XX века и лишила их важнейшего из познавательных ресурсов, буквально повсюду рассыпанных в языковых данных. <...> В действительности ... мы наблюдаем бесконечное разнообразие ... языковых структур. Однако это разнообразие не хаотично. Напротив, за ним скрывается достаточно жесткая семиотическая логика, ограничивающая варьирование наблюдаемой языковой формы и устанавливающая истинные связи между языковыми формами и когнитивными структурами. Обнаружение и описание этой логики является целью лингвистической реконструкции» [Кошелев 2008: 53].

Цель настоящей работы — выяснить причины и условия изменений, происходящих в сфере русского синтаксического согласования. То есть в соответствии с базовым постулатом когнитивной лингвистики мы пытаемся определить, какие когнитивные явления обуславливают изменения форм синтаксического согласования в истории русского языка. Очевидно, что такое выяснение возможно лишь при условии привлечения данных смежных с лингвистикой наук. Приведенные выше примеры согласования *мой отец с матерью* — *мои отец с матерью* и *изучалась математика и химия* — *изучались математика и химия* мы используем в выводах к главам 1–3 в качестве индикаторов идентичности с данными смежных наук (об остальных вариантах русского синтаксического согласования — см. главу 4). В целом такой подход можно считать междисциплинарным, хотя методы других дисциплин нами не применяются — нас интересуют лишь полученные в смежных с лингвистикой областях результаты.

Исследуемая нами грамматическая вариантность наблюдается в речи, практической реализации языка, языковой системе в действии. И важно учитывать, что речь является объектом изучения нескольких смежных с лингвистикой, но не всегда близких друг другу наук. Известный советский психолог и лингвист Н.И. Жинкин по этому поводу писал: «Речь в качестве объекта изучения привлекает внимание ряда

научных дисциплин. Языкознание во всех аспектах — фонетическом, лексическом и грамматическом, — физиология в части проблем, связанных с деятельностью второй сигнальной системы, физика в разделе акустики, логика и, наконец, психология, — каждая из этих областей знания, идя своими путями и дорогами и решая свои особые специальные задачи, имеет в виду все тот же общий для всех этих дисциплин речевой процесс. То обстоятельство, что реальный объект изучения остается общим, заставляет каждую из этих дисциплин, при всей специфичности своего предмета и применяемых методик, считаться с фактами, добытыми в каждой из смежных областей» [Жинкин 1958: 13]. О связи языковедения с физиологией, психологией и историей говорил в свое время Ф.Ф. Фортунатов [Фортунатов 1964: 241–242] (см. также обоснование «концептуальной связи между физиологией и психологией» в [Иваницкий, Стрелец, Корсаков 1984: 13–24]). По мнению О.Г. Почепцова, «ограничившись использованием собственно языковедческих данных и понятий, мы сможем лишь описать ... аномалии, но мы не сможем исследовать их природу» [Почепцов 1990: 110], что вряд ли можно признать соответствующим требованиям современной науки.

Из перечисленных Н.И. Жинкиным областей знания смежными для языкознания — как одной из наук о человеке — являются логика и психология. Их положения, в особенности психологические, мы привлекаем к исследованию исторического развития русского синтаксического согласования. Такая направленность исследования оказывается в целом созвучной идеям О. Есперсена, который ставил перед собой задачу «внести свой вклад в грамматическую науку, основанную одновременно на разумной психологии, здоровой логике и надежных фактах истории языков» [Есперсен 2002: 397], и Ш. Балли, полагавшего, что «всякое высказывание мысли с помощью языка обусловлено логически, психологически и лингвистически» [Балли 1955: 43]. С.Д. Кацнельсон считал, что прогресс смежных наук, прежде всего логики и психологии, «по-новому ставит вопрос о союзниках языкознания и не может не повлиять на грамматику» [Кацнельсон 2001: 556–557]. На необходимость «изучения системы коммуникативных средств, истории их образования и их сложных взаимоотношений со всей психической деятельностью человека» указывал Б.А. Серебренников, сетуя на то, что «рассмотрению этого чрезвычайно важного вопроса в существующих учебниках по общему языкознанию уделяется очень мало внимания» [Серебренников 1970: 10]. Поучительным в рассматриваемом отношении является и тот факт, что в конце XIX века внимание к психологической стороне речи, а именно к «языковому творчеству индивида», позволило видному пред-

ставителю младограмматизма Г. Паулю прийти к выводу о неосознанности языковых изменений, осуществляемых индивидом: «...языковые образования создаются обычно не в результате сознательного намерения». В языке «индивидуум не осознаёт свою творческую деятельность» [Пауль 1964: 202]. «Чрезвычайно важно, — считал Э. Сэпир, — чтобы лингвисты, которых часто обвиняют — и обвиняют справедливо — в отказе выйти за пределы предмета своего исследования, наконец поняли, что может означать их наука для интерпретации человеческого поведения вообще. Нравится им это или нет, но они должны будут все больше и больше заниматься различными антропологическими, социологическими и психологическими проблемами, которые вторгаются в область языка» [Сэпир 1965: 237–238]. «Позднее других наук, — пишет известный психолингвист Т.Н. Ушакова, обосновывая интерес психологии к языку и речи, — свои права на рассматриваемый нами объект — рече-языковую способность — заявила психология. И эту заявку следует признать вполне правомерной: речь и язык — порождение психики, мозга человека. Речезыковая способность по своей глубинной сущности не имеет принципиального отличия от других психических функций, изучаемых психологией. Речь и язык «погружены» в человеческую психику, речезыковые проявления близки другим психологическим феноменам. Так, осмысленность речи связывает ее с сознанием человека, его мыслительными процессами; речевое выражение аффектов — с эмоциями; восприятие речи — одна из форм перцептивной способности; говорение — организация сложных специализированных двигательных актов; хранение и устройство языка — один из видов памяти. К области психологии, несомненно, относятся и такие темы, как онтогенез и филогенез языка и речи, мозговое и генетическое обеспечение речезыковой способности, функционирование речи в социуме, в общении людей между собой. Для психологии изучение вербальной способности людей оказывается неизбежным. ... В целом соединение, взаимное дополнение психологических и лингвистических данных можно рассматривать как форму системного подхода к исследованию речи и языка. В нем реализуется преодоление ограничительных рамок и ведомственных преград, что делает знание об объекте более разносторонним и глубоким, более адекватным действительности» [Психолингвистика... 2006: 10–11, 13–14]. Следует добавить, что логичность «речезыковой способности» тоже может быть объектом внимания психологии. Человек в своих языковых и речевых проявлениях может быть логичным (соответствуя универсальным законам логики) или нелогичным (не соответствуя им), что само по себе не является достижением или недоработкой

науки логики, которая в данном случае как наука не работает. В нашем случае речь следует вести не столько о логике, сколько об изучаемых ею как наукой законах и формах мышления, данных человеку от природы и функционирующих стихийно, как о необходимом условии и неизбежном фоне познания. Именно поэтому можно говорить о том, что изучение причин нелогичности в языке и речи может быть делом изучающей мыслительные процессы психологии. В наши дни в силу интегрирующего начала антропоцентрической направленности различных дисциплин с лингвистикой либо соседствуют, либо являются объединенными такие науки, как психолингвистика, детская психология, онтолингвистика, приматология, этнопсихология, этнолингвистика, когнитивная психология, нейрофизиология и нейролингвистика, сведения которых в соответствии с общими принципами когнитивной лингвистики мы применяем в настоящем исследовании.

Историческая, или диахроническая, направленность нашего исследования требует отдельного обоснования, хотя понятие эволюции и предполагает такую направленность само по себе. Для наиболее прозорливых лингвистов уже достаточно давно очевидно, что «язык может быть определен как исторически развивающееся явление, как объект, который никогда не бывает и не может быть абсолютно устойчивым, как динамическая система, находящаяся в каждый данный момент своего существования в состоянии относительного равновесия» [Кубрякова 1970¹: 210]. Закономерности развития системы языка изучаются историко-лингвистическими дисциплинами, поэтому их данные, прежде всего данные исторической грамматики, нас интересуют.

Соотношение логики и грамматики (частью которой является исследуемое нами синтаксическое согласование) обычно изучается методом непосредственной проверки соответствия грамматических правил универсальным логическим законам в синхронии. Результатом этой процедуры является констатация логичности-нелогичности того или иного грамматического явления. При этом упускаются из виду психологические особенности развития логического мышления и грамматической способности в историческом плане. В ходе исследования мы метонимически логично (ср. с мыслью Э. Косериу о том, что «историчность человека совпадает с историчностью речевой деятельности» [Косериу 1963: 185]) уделяем внимание и диахроническим сведениям о носителе языка — человеке. Считаем важным учитывать, что история человека представляет собой эволюцию не только человека как биологического вида на фоне других представителей фауны (филогенетический аспект), но и человека как индивида, взрослеющего на фоне более старших пред-

ставителей его социума (онтогенетический аспект), или человека как представителя народа, существующего на фоне более развитых в культурном отношении этносов (аспект, совмещающий филогенетический и онтогенетический подходы). Аналогичным образом мы учитываем, что история языка может быть эволюцией не только языка как коммуникативной системы человека на фоне систем коммуникации животных или одного языка на фоне других языков (филогенетический аспект), но и языка взрослеющего ребенка на фоне языка окружающих его взрослых (онтогенетический аспект) или молодого, то есть древнего, предка современного языка, а также древнего, но мертвого языка на фоне языков развитых современных (аспект, совмещающий филогенетический и онтогенетический подходы). Закономерна и постановка вопроса о наличии / отсутствии пережитков прежних этапов развития в мышлении человека и грамматике его языка.

В свое время знаменитый советский психолог, проживший трагически короткую жизнь, но успевший сделать в науке очень многое и потому заслуженно получивший в научной среде имя «Моцарт психологии», Л.С. Выготский высказал предположение об идентичности путей развития речи в филогенезе и онтогенезе (психологи школы Выготского, то есть «психологии действия»), старались не пользоваться термином «язык», подчеркивая, что их интересует речь как «язык в действии», но на примере высказываний современного психолингвиста Т.Н. Ушаковой мы могли убедиться в связанном представлении языка и речи). Лингвист А.Н. Барулин справедливо призывает обратить внимание на тот факт, что высказанная более полувека назад Л.С. Выготским гипотеза о том, что «так же, как эмбриональное развитие плода повторяет в основных чертах в сжатом виде филогенетическую историю вида, развитие речи в филогенезе повторяется в сжатом виде в основных чертах в развитии речи у ребенка, ... не только не устарела, она активно развивается» [Барулин 2008: 52]. Ярким примером сопоставительного рассмотрения поведения ребенка, антропоида и первобытного человека как трех путей развития, из которых складывается история поведения человека, в том числе поведения языкового, является работа [Выготский, Лурия 1993]. Поэтому рассмотрение генезиса логического мышления и грамматики считаем целесообразным начать с его протекания у человека взрослеющего, то есть у ребенка, иногда в сопоставлении с аналогичными проявлениями у антропоидов (глава 1). Затем считаем необходимым перейти к логическому мышлению и грамматическим особенностям языка взрослых, которых часто сравнивают с детьми, то есть представителей тех немногих в наше время народов, которые пре-

бывают на невысокой ступени общекультурного развития и потому считаются первобытными или которые являются древними этносами, в том числе предшественниками этносов современных (глава 2). После этого мы сравниваем выявленные особенности детского (а также антропидного) и первобытного (а также древнего) состояния развития логики и грамматики с состоянием их развития у современного цивилизованного взрослого (глава 3). Завершает работу опирающееся на данные трех предыдущих глав исследование развития форм русского синтаксического согласования (глава 4).

ГЛАВА 1.

ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И ГРАММАТИКА РЕБЕНКА: СИНКРЕТИЗМ, ПОВЕРХНОСТНОСТЬ И АЛЬТЕРНАТИВНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ

Приведенные выше данные и мнения известных ученых позволяют предположить, что развитие форм синтаксического согласования может быть в какой-то степени идентичным становлению логического мышления и грамматического строя ребенка, растущего в цивилизованной среде.

По всеобщему признанию, наиболее известным (в прошлом веке) исследователем детского интеллекта является швейцарский психолог Жан Пиаже. Его заслуги в области детской психологии имеют мировое признание. Наблюдения и выводы Ж. Пиаже, которые видный представитель психологической школы Выготского П.Я. Гальперин на 18-м Международном конгрессе психологов в Москве (1966 г.) предложил называть «феноменами Пиаже», в целом подтверждаются и другими психологами, проводящими исследования в области детской психологии. И хотя достижениями когнитивной психологии начиная с последней четверти XX века результаты научной деятельности выдающегося детского психолога всё чаще уточняются и даже иногда затмеваются (см. [Кошелев 2008: 30–35]), чувство уважения к нему не ослабевает.



Жан Пиаже (1896–1980)

Данью научным заслугам Ж. Пиаже является и название настоящей главы, отчасти представляющее собой перифраз (с намеренно обратным порядком слов) названия одной из известнейших его работ «Речь и мышление ребенка» [Пиаже 1994]. Хотя в обоих случаях синтаксическая двусмысленность допускает возможность второго прочтения: 'Чья-то или вообще речь, а мышление — ребенка' и 'Чье-то или вообще логическое мышление, а грамматика — ребенка', — мы надеемся на то, что, как и в случае с названием работы Ж. Пиаже, будем поняты правильно: 'ребенка — и логическое мышление, и грамматика'. Считаем также возможным структурировать настоящую главу в соответствии с предложенной Ж. Пиаже периодизацией развития интеллекта ребенка.

Основная идея Ж. Пиаже в сфере изучения детской психики состоит в том, что развитый интеллект формируется у ребенка далеко не сразу

после рождения. Лишь примерно к 12-летнему возрасту у ребенка в целом формируются понятия и наблюдается устойчивое абстрактное мышление. Говорить о каких-то проявлениях детского мышления Ж. Пиаже считает возможным не ранее чем с 2-х летнего возраста ребенка.

Современные же психологи считают важными для дальнейшего когнитивного и языкового развития ребенка все периоды его жизни начиная с момента рождения. Например, Т. Бауэр пишет: «Младенчество, по моему убеждению, является решающим периодом познавательного развития — в это время ребенок может многое приобрести, но и многое потерять. Более того, потери этого периода с возрастом восполняются труднее, а приобретения остаются надолго» [Бауэр 1985: 11].

Несомненно, Ж. Пиаже был по-своему прав, соотнося интеллектуальное развитие ребенка с развитием речи, хотя и не воспринимал ее проявлений, которые можно считать предшественниками речи. Последовавшие за его разысканиями, и особенно современные, исследования детской речи привели к появлению специального направления в лингвистике — онтолингвистики, то есть лингвистики детской речи. «Феномен «детской речи», — отмечает Б.М. Гаспаров, — заключает в себе огромную притягательность для лингвиста; в нем как бы выступают на поверхность, становятся легко обозримыми и очевидными те категории, в которых, предположительно, языковой опыт организован в интуиции всякого говорящего» [Гаспаров 1996: 68]. Однако неудивительно, что самые первые проявления детской речи, такие эмоционально-языковые, как крик, улыбка (конечно, не звуковая, но, возможно, в какой-то мере коммуникативная) и плач, и такие квазиструктурно-языковые, как гуление (когда ребенок в спокойном расположении духа издает звуки, похожие на гласные), наблюдаемое с возраста примерно 2-х месяцев, и лепет (представляющий собой сочетания, похожие на комбинации согласного с гласным), фиксируемый примерно с 6-ти месяцев, заинтересовали лингвистов лишь в последние десятилетия.

«Известно, что ухо младенца с первых недель жизни выделяет фонемы родного языка и становится «глухим» к фонемам других языков, — пишет известный психолог В.П. Зинченко. — Такое преодоление избыточности свидетельствует о том, что атмосфера языка, в которой оказался ребенок, для него не безразлична; она является важнейшим условием его существования и развития. При восприятии (ощущении — ?) речи новорожденный активен. На третьей-четвертой неделе жизни наблюдается слуховое сосредоточение или ориентировка на голос взрослого: ребенок замолкает, становится неподвижным. Тогда же появляется и первая, человеческая улыбка. Многие авторы датируют ее появление 21-м днем жизни» [Зинченко 2008: 118].

Как первые попытки коммуникации расценивается и детский плач. Т.Н. Ушакова свидетельствует: имеются «эмпирические данные, показывающие, что в конце первого месяца по интонационной структуре можно различать плач-жалобу, плач-требование, плач-недовольство, плач-каприз, плач-протест» [Психолингвистика... 2006: 195].

В отношении явно неосмысленных гуления и лепета мнения могут колебаться даже у одного наблюдателя. Так, известный онтолингвист С.Н. Цейтлин в целом не склонна преувеличивать значение не только простейшего гуления, но и более прогрессивного в звуковом отношении лепета: «В каком смысле лепет представляет собой «предречь»? Только в том, что происходит упражнение голосовых связок, ребенок учится прислушиваться к себе, соизмерять слуховые и двигательные реакции». Однако другие приводимые автором в той же работе характеристики гуления и лепета свидетельствуют именно о коммуникативно-речевой отнесенности этих явлений: «К трем месяцам гуление достигает обычно максимума. Его характер и продолжительность зависят от реакции матери. Если она положительно реагирует на издаваемые ребенком звуки, улыбается в ответ, повторяет их, гуление усиливается, приобретает все более эмоциональный характер. Гуление, не поддерживаемое домашними, постепенно сходит на нет, затухает. Таковы первые диалоги матери и ребенка, первые опыты общения. <...> Постепенно цепочки звуков в лепете становятся все более разнообразными, они могут представлять сочетания разных слогов. **В лепете шести-семимесячного ребенка уже можно отметить некое подобие интонации, причем все с большей степенью определенности просматриваются (прослушиваются?) контуры интонационных конструкций, свойственных именно родному языку. Несомненно, это проявление неосознанной имитации речи окружающих. <...> Известно, что дети уже на первом году жизни проявляют необыкновенную чуткость и восприимчивость к интонационным конструкциям родного языка. <...> Чем разнообразнее и выразительнее лепет ребенка, тем меньше оснований для беспокойства относительно его дальнейшего речевого развития» [Цейтлин 2000: 15–20]. Об этом периоде детских лингвистических проявлений, прибегая к сравнению, писал А.А. Потенция: «если ребенок получает те же впечатления, что и взрослый, то решительное большинство их имеет для него то же значение, что для нас ощущение общего чувства. Например, если на первых порах он произносит только легчайшие сочетания губных согласных с *a*, то все остальные членораздельные звуки существуют для него лишь в той мере, в какой для нас мудреное слово чужого языка, которое мы слышали, но повторить не можем, или сложный мотив, от которого нам остается только известное чувство,**

а не воспоминание завершеного круга звуков» [Потебня 2007: 66–67]. Согласно современной психологической концепции моторной теории восприятия речи лепет имеет гораздо большее значение, чем «упражнение голосовых связок», — он важен как способ тренировки и закрепления константности восприятия устной речи, который взрослыми недальновидно воспринимается как проявления невнятной речи, подлежащие коррекции: «Благодаря слушанию собственного лепета ребенок овладевает на весь последующий период слуховым навыком константно опознавать орфоэпически ненормативную беглую, зашумленную речь взрослых. Лишая ребенка по каким-либо обстоятельствам возможности прослушать себя в период лепета, взрослые совершают дидактическую ошибку, исправить которую уже невозможно. ... становясь взрослым, ребенок будет постоянно испытывать трудности речевой коммуникации с собеседником, говорящим бегло, то ли с орфоэпическими ошибками, с акцентом, без зрительного восприятия лица собеседника, в шумах» [Лосик: 20].

Более того, современные исследования показывают, что к моменту произнесения первых слов ребенок понимает (!) лексические значения 50–100 слышимых им слов, что свидетельствует о более быстром пополнении пассивного словаря в сравнении с пополнением словаря активного [Цейтлин 2009: 62]. Такое пассивное усвоение речи, по общему мнению ряда исследователей, начинается в возрасте 7–8 месяцев [Крайг, Бокум 2007: 258; Кошелев 2008¹: 218]. «Следует, однако, иметь в виду, — замечает А.Д. Кошелев, — что узнаваемые младенцем слова еще не несут функции языковых знаков. Они для младенца — лишь звуковые жесты, указатели на некоторые физические ситуации...» [Кошелев 2008: 33]. Как можно убедиться, вся квазизыковая деятельность ребенка, в отличие от существовавших еще не так давно представлений об этом, стихийно направлена именно на коммуникацию, которой на данном этапе еще почти нет, но это «почти» можно считать не просто зачаточным, а начальным ее состоянием.

Открытия когнитивной психологии, которые А.Д. Кошелев склонен называть «Когнитивной революцией конца XX века», «выявили радикальную недооценку способностей младенца в области восприятия...» [Там же: 30], что в свою очередь позволило заявить о том, что Ж. Пиаже обнаружено не было: о «непрерывности и взаимообусловленности когнитивного и речевого развития, постепенном накоплении ребенком возможностей и достижений для перехода от довербального уровня к вербальному» [Сергиенко 2008: 359].

По убеждению Е.А. Сергиенко, «такие конструкторы, как непрерывность и субстанциональность, глубоко внедрены в когнитивные репрезентации

физического мира и усваиваются человеком еще в младенческом возрасте. <...> младенец — не сенсомоторный индивид, лишенный упорядоченных ментальных структур, погруженный в хаос ощущений, как ранее полагалось» [Сергиенко 2006: 14]. По данным Х. Би, предметный мир довербального младенца не только существует, но и является относительно независимым от условий его жизни в таком довербальном периоде его развития [Би 2004: 275]. Восьмимесячные дети могут использовать цвет, форму и непроницаемость поверхности как признаки целостности объектов [Сергиенко 2006: 220 и сл.; Ньюкомб 2003: 176–177]. По мнению А.Д. Кошелева, в этот период в детском восприятии «окружающий мир распадается на множество единиц, заданных своими предметными образами (или гештальт-формами — совокупностями предметных характеристик...). Этим единицам младенец автоматически приписывает функциональные (ролевые) характеристики...» [Кошелев 2008: 32-33]. В возрасте 9–10 месяцев дети уже умеют демонстрировать символические действия в игре и при управлении (манипулировании) взрослыми в личных целях [Крайг, Бокум 2007: 253]. В отношении когнитивного развития ребенка до возраста 1 года следует подчеркнуть, что «революционность» показанных для этого периода открытий имеет значение не как понятие, «ставящее с головы на ноги» все имеющиеся в этой области представления, а как существенное — в противовес существующему ранее представлению и расширяющее его хронологические границы — уточнение: в довербальном периоде развития ребенка некоторая, постепенно совершенствующаяся когнитивная деятельность — есть.

Первые слова ребенок произносит в возрасте примерно одного года, и эти слова в настоящее время принято называть голофразами или холофразами (во избежание нежелательной омонимии части *голо-* с частью, якобы производной от *голый*, вслед за многими онтолингвистами будем применять второй вариант термина), поскольку семантически каждое такое слово эквивалентно целой фразе, а период их употребления называют соответственно этапом холофраз [Цейтлин 2009: 61–69]. В свое время В.А. Богородицкий в «Этюде по психологии речи» писал: «...отдельное слово заступает у него целую фразу (слово *t'uj* может значить, что ребенку хочется сесть на стул или что-нибудь в этом роде), но только он не может выразить своей мысли полной фразой, так как мысль его не привыкла еще расчленяться обычным образом на частные представления, которые выражались бы особыми соответствующими словами» [Богородицкий 2004: 150]. Ближайший соратник Л.С. Выготского А.Н. Леонтьев на одной из своих лекций говорил о той же закономерности ранней детской речи: о ребенке, который, по-

дойдя к маме, произносит всего одно слово, которое означает 'сделай мне из бумаги шапочку', и о менее чем годовалом ребенке, который, судя по его повторяющемуся каждый раз действию, вкладывал в слово *бах* смысл 'Построй мне пирамиду из кубиков — и я опять ее с удовольствием разрушу!' [Леонтьев АН 2005: 363]. Подобные примеры приводит и другой сподвижник Л.С. Выготского А.Р. Лурия: «Если ребенок играет с лошадкой и говорит «тпру», то это «тпру» может обозначать и «лошадь», и «сани», и «садись», и «поедем», и «остановись» в зависимости от того, в какой ситуации и с какой интонацией оно произносится, какими жестами оно сопровождается» [Лурия 1998: 37]. Спустя десятилетия такие же закономерности, но с такой особенностью, как лексический повтор (впрочем, лексический ли? — см. ниже мнение С.Д. Кацнельсона), отмечает онтолингвист Н.И. Лепская: «Например, голофраза *кать-кать* ... может означать, что ребенок не хочет садиться в коляску, или что хочет везти коляску сам, или что коляска грязная и ему это неприятно» [Лепская 1997: 25]. Такие «первые слова» ребенка, необыкновенно полисемантические, по мнению родоначальника советской психолингвистики А.А. Леонтьева, «выражают переживания в связи с восприятием предмета, они не имеют еще константного значения. Это не слова, обобщающие в форме понятий существующие предметы, а семантические комплексы, охватывающие вещи со сходным смыслом. Это объединение в свою очередь обусловлено тремя моментами: предметным, аффективным и функциональным сходством, переживаемым ребенком в процессе восприятия и выражения. Однако эти три момента переживаются ребенком не отдельно, а в единстве» [Леонтьев А.А. 1965: 167]. С.Д. Кацнельсон тоже не считает холофразы ни словами, ни фразами: «Это, собственно говоря, еще не слова, если под словами понимать заготовки, служащие для составления из них предложений; это и не предложения, если под предложениями понимать сложные образования, составленные из слов. Это ни то ни другое или, если угодно, то и другое в неразрывной связи, в недифференцированном виде. Это образования сугубо ситуативные в том смысле, что о значении их можно судить только в конкретной ситуации речи, и вне этой ситуации они почти бессмысленны» [Кацнельсон 2001: 521]. Таким образом, холофразы можно рассматривать как результат восприятия явлений действительности целостными, нерасчлененными.

За этапом холофраз, в возрасте полутора-двух лет, следует этап двусловных (почти без лексических повторов) высказываний, представляющих собой развертывание холофраз, например *На, мама* (= *Возьми, мама*); *Папа а-а-а* (= *Папа спит*); *Ням-ням баба* (= *бабушка ест*) и т. п. В таких случаях, как можно убедиться, используются примитивные,

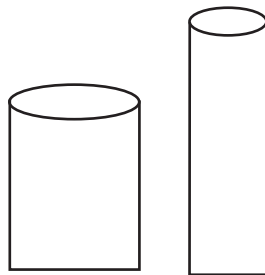
нередко звукоподражательные слова так называемого «языка нянь», но именно они позволяют ближе к двум годам создавать первые синтагмы (типа *Сидеть стул; Где мама?*) [Пинкер 2004: 254] и первые факты «телеграфной речи», тоже не всегда грамматически правильные по причине, например, пропуска предлогов и союзов или неправильного управления (*Мама сиди стуле*), но уже двух-трехсловные, свидетельствующие о том, что «каждая ситуация распадается на отдельные предметы» [Кошелев 2008¹: 193] (см. также [Крайг, Бокум 2007: 266]). Эти факты знаменуют начало постепенного усвоения словообразования и морфологии, основывающегося на активном применении принципа аналогии [Цейтлин 2009: 69–82], а также начало усвоения синтаксиса [Пинкер 2004: 256 и сл.]. Таким образом, на этапе распада холофраз наблюдаются первые попытки членить воспринимаемую действительность, но вначале не более чем бинарно и, как будет показано ниже, скорее формально, нежели семантически.

Как отмечено выше, младенческий, а также до 2-х летнего возраста периоды развития ребенка Ж. Пиаже не интересуют. Причиной этого невнимания оказался повышенный интерес ученого к более-менее осмысленной детской речи, на проявлениях которой он основывал свои заключения и которой ни младенцы, ни дети в возрасте до 2-х лет не владеют. Ж. Пиаже выделяет три периода действий ребенка, познающего окружающий мир и себя в нем: «период сенсомоторных действий, предшествующих речи и любой концептуализации представлений, и период действий, дополненных этими новыми способностями, когда уже можно говорить об осознанности результатов, намерений и механизмов действий, то есть об их интерпретации средствами понятийного мышления», а также период «формальных операций» [Пиаже 2004: 16, 66].

В периоде сенсомоторных действий (он же — период «дооперационального мышления», возраст от 2–3 до 7–8 лет) Ж. Пиаже выделяет два подуровня.

На первом подуровне (от 2–3 до 5–6 лет) дооперационального мышления классификации, осуществляемые ребенком, «еще представляют собой «произвольные наборы», то есть множество индивидуальных элементов строятся на основе не только сходства и различия, но и разнообразных совпадений (например, стол и то, что на него ставят). <...> Данное отсутствие дифференциации заходит настолько далеко, что, например, 5 элементов, взятых из набора, в котором их было 10, представляются менее значимыми, чем те же 5 элементов, взятые из набора, в котором их было 30 или 50» [Там же: 41].

Показателен широко известный среди психологов опыт, проведенный Ж. Пиаже совместно с А. Шеминской. Два одинаковых сосуда сами дети 4–5 лет наполняют равным количеством бусинок. Когда содержимое одного из сосудов (другой оставляется в качестве контрольного образца) на глазах у этих детей пересыпается в третий сосуд другой формы, например более высокий и тонкий (см. рисунок), испытуемые решают, что количество бусинок в новом сосуде изменилось: по мнению одних, бусинок стало больше, потому что новый сосуд выше, по мнению других, — меньше, потому что он тоньше. При этом никто не затрудняется с ответом, никто не говорит «не знаю» [Пиаже 1969: 183–184].



В другом примере от Ж. Пиаже «маленькая Жаклин, увидев свою фотографию, сделанную в более раннем возрасте, сказала, что «это Жаклин, когда она была Люсьен» (ее младшей сестрой)» [Пиаже 2004: 35]. В связи с тем что ребенок никогда не отказывается ответить на заданный вопрос или прокомментировать предъявляемую информацию, Ж. Пиаже пишет о развитой у детей «потребности в обосновании во что бы то ни стало». Кроме того, автор сообщает, и это для нас особенно важно, о том, что в процессе такого обоснования «каждое явление может быть обосновано тем, что его окружает» [Пиаже 1994: 118–121], то есть, другими словами, тем, что ребенок воспринимает в окружающей действительности. Подобные примеры ученый объясняет синкретизмом детского мышления [Там же: 358–368], но, как мы можем убедиться, оперирующее представлениями мышление не может не опираться на данные восприятия, которое у ребенка еще далеко от совершенства.

Под восприятием обычно понимают чувственный образ, который формируется на основе ощущений и является основой представления, а также сам процесс указанного формирования [Кондаков 1975: 92–93, 429, 475]. Конечно, восприятие немислимо без участия органов чувств, и прежде всего зрения. Однако парадоксальным является тот факт, что, несмотря на важность зрения в процессе познания, именно оно у новорожденного младенца развито меньше других перцепций. «Один из парадоксов психического развития ребенка заключается в том, что доминантной становится система, которая у новорожденного человека в наименьшей степени жизненно значима», — замечает Б.Г. Ананьев, психолог, специализирующийся на вопросах зрительного восприятия [Ананьев, Дворяшина, Кудрявцева 1968: 72]. Любопытны результаты из-

учения Т. Бауэром реакций младенцев на приближение или отдаление объектов: «младенцы на первой неделе жизни могут идентифицировать направления движения объектов по отношению к себе». Так, они демонстрируют защитную реакцию на объект, движущийся прямо на них, и не демонстрируют ее на объект, движущийся мимо. У младенцев на второй неделе жизни «близкий объект вызывал примерно в два раза больше протягиваний руки, чем далекий, что свидетельствует о некотором различении удаленностей» [Бауэр 1985: 82, 117]. То, что ребенок тянул руку не только к ближайшему, но и к удаленному объекту, свидетельствует о неразличении расстояния до объектов. Однако то, что к ближайшему он тянул руку в два раза чаще, говорит о большей заметности того, что ближе. «За несколько месяцев развития, с 2 до 5–6 месяцев жизни, зрительная система с помощью слуховых ориентировочных реакций, тактильных и кинестетических, вкусовых, вестибулярных и других ощущений настолько обгоняет в своем процессе остальные анализаторные деятельности, что становится в первый ряд чувственных деятельностей ребенка» [Ананьев, Дворяшина, Кудрявцева 1968: 73] (из этого следует, что к зрительной системе применима народная мудрость: «Медленно запрягает, да быстро едет»).

Действительно, зрительная система далеко не сразу достигает совершенства восприятия. «Мы имеем все основания предполагать, что ребенок воспринимает мир неустойчиво и вариативно, что незначительного изменения расстояния [до] предмета (мы уже не касаемся здесь других факторов) достаточно, чтобы предмет приобретал в его глазах совсем другой вид» [Выготский, Лурия 1993: 134]. При восприятии маленьким ребенком неподвижного предмета тоже наблюдаются проблемы с фиксацией: согласно свидетельству Д.Б. Эльконина, экспериментально доказано, что «младший дошкольник не умеет еще управлять своим взором. Его взгляд сначала как бы блуждает, скачет по предмету. У старших дошкольников появляется более систематическое рассматривание и последовательное передвижение взгляда» [Эльконин 2005: 205]. Здесь важно то, что блуждающий, скачущий взгляд не способен зафиксировать существенные признаки предмета, при таком взгляде больше вероятности воспринять несущественные признаки в качестве существенных. А.В. Запорожец тоже фиксирует эту особенность детского зрительного восприятия: «не только все младшие (3–5 лет), но и значительная часть старших детей (5–7 лет) ограничиваются ... очень беглым осмотром экспонируемого объекта, так что складывающийся у них образ носит весьма неполный, фрагментарный характер. При таком способе ознакомления дети довольно успешно узнают предмет по 1–2 типичным признакам, но не могут воспроизвести его в рисунке или аппликации, так как изображение требует более высокого уровня организации перцептивных

процессов, более полного и детализированного сенсорного образа» [Запорожец 1986: 95]. В.П. Зинченко и Н.Ю. Вергилес, проанализировав траектории движений руки и глаза ребенка, выяснили, что «процесс формирования образа включает следующие перцептивные действия: поиск и обнаружение объекта; выделение в объекте информативного содержания, адекватного задаче; ознакомление с выделенным содержанием. В зависимости от возраста испытуемых перечисленные внешние перцептивные действия характеризуются разной степенью развернутости. Например, дети 3 лет еще не выделяют контур как необходимый информативный признак, ориентируются на другие признаки предмета, что приводит к некачественному ознакомлению и к ошибкам последующего узнавания. Дети 6 лет подробно обследуют контур предметов, форма их действия становится изоморфной форме обследуемого предмета» [Зинченко, Вергилес 1969: 27].

Показательны выводы Б.Г. Ананьева: «Казалось бы, что до первоначального обучения ребенка грамоте, т. е. чтению и письму с буквенным аппаратом и зрительно-моторной координацией, речь ребенка носит чисто слуховой и артикуляционный характер, лишенный какого-либо зрительного соучастия. В действительности же зрительная апперцепция и здесь имеет важнейшее значение, так как усвоение ребенком словарного состава языка происходит путем ассоциирования слухового образа слова со зрительным образом обозначаемого этим словом предмета. <...> В развитии речи ребенка также обнаруживаем перевод слуховых лексических представлений на алфавит зрительных образов. Это процесс необратимый, и поэтому у поздно ослепших людей продолжает действовать такой перевод. <...> Автоматизм такого перевода на алфавит зрительных образов или зрительного кодирования тормозит включение активного осязания в той его развитой форме, которая характерна для поздно ослепших. Но и слепорожденные, для которых характерно высокое развитие осязания и перевод на тактильно-кинестетический алфавит всех образов, также испытывают ряд ограничений вследствие того, что словарный состав общенародного языка, которым они пользуются, в очень многих своих элементах (особенно существительных) носит печать зрительного опыта человечества. <...> Интимная связь зрительной интеграции и мощного развития сигнификации в развитии человека несомненна... Несомненно огромное влияние речи на перцептивный прогресс ребенка. Но не менее значительно влияние этого прогресса в форме зрительной интеграции опыта на становление и развитие детской речи, чему уделено очень мало внимания» [Ананьев, Дворяшина, Кудрявцева 1968: 69–70].

Для многих неспециалистов может быть откровением, что количество фиксируемых человеческим зрением реалий значительно превышает

ет количество соответствующих им номинаций. Дело в том, что человек обобщает зрительные впечатления и отражает их сравнительно небольшим числом названий. По свидетельству А.Р. Лурии, «человеческий глаз может практически воспринимать до двух-трех миллионов различных цветовых оттенков, однако человек имеет в своем распоряжении лишь 20–25 названий цвета; воспринимая тот или иной оттенок, он выделяет его ведущий признак и относит его к той или иной цветовой категории» [Лурия 1974: 34].

Несмотря на важность чувственной стороны восприятия, следует понимать, что в нем участвуют не только органы чувств: очень существенной составляющей восприятия является когнитивная его часть. Например, известный когнитивный психолог Дж. Брунер рассматривает процесс восприятия какого-либо предмета как «процесс категоризации», «процесс постепенного сужения, последовательного ограничения категорий, к которым мы относим наш предмет» [Брунер 1977: 23–26]. О восприятии как о категоризации, но с введением понятия 'распознавание' говорит другой известный представитель когнитивной психологии Б.М. Величковский: «Важнейшей функцией восприятия является *распознавание* зрительных и акустических конфигураций, ведущее, в частности, к *узнаванию* предметов и их *категоризации*, то есть отнесению к той или иной семантической категории» [Величковский Т. 1, 2006: 208]. Все это доказывает, что перцептивные возможности не сводятся лишь к чувственному познанию, а рассматриваются как опирающиеся на него, но неизменно отражаемые в сознательной категоризации представлений: можно зрительно воспринимать (видеть) явление, но не осознавать его категориальную принадлежность — требуются когнитивные усилия по абстрактному представлению имеющихся возможностей категоризации. Известен афоризм А.Н. Леонтьева по этому поводу: «Воспринимают не органы чувств, а человек при помощи органов чувств» [Леонтьев А.Н. 1975: 59]. Участие мышления в процессе восприятия существует и множество других доказательств, например неопределенность тактильного восприятия при отсутствии данной мышлением опознавательной или познавательной установки либо «отфильтрованная» мышлением константность зрительного или аудиовосприятия: человек воспринимается как человек на любом удалении от смотрящего с осознанием оптического обмана — малых размеров человека на большом расстоянии (подробнее об этом — см. [Иваницкий, Стрелец, Корсаков 1984: 38–41]), а речь, как правило (если взрослые не корректировали лепет человека, когда он был ребенком, — см. выше), воспринимается даже в случае ее артикуляционной неточности.

Результаты четвертьвековых нейропсихолингвистических исследований, осуществленных одним из пионеров изучения межполушарных отношений в головном мозге В.Л. Деглиным, свидетельствуют о том, что функцию распознавания выполняет правое полушарие, а категоризацию — левое. Согласно теории В.Л. Деглина, история развития человеческого мозга есть история движения мысли конкретной из правого полушария к мысли абстрактной в левом полушарии: «Ранний этап эволюции психической деятельности — этап использования природных объектов в качестве знаков — связан с правым полушарием и роднит человека с его животными предками. Поздний этап эволюции становления психической деятельности, основанный на специально созданных для знаковой функции искусственных объектах, связан с левым полушарием. Это специфически человеческий этап становления психической деятельности. <...> Функциональная асимметрия, с моей точки зрения, — это летопись, «Повесть временных лет» человеческой психики» [Деглин 1996: 145–146] (очевидно, что «искусственными объектами» В.Л. Деглин называет понятия). К таким же выводам приходят другие исследователи функциональной асимметрии полушарий человеческого мозга. Так, Д.А. Фарбер и Т.Г. Бетелева фиксируют, что механизмы целостно-формального, конкретного опознания, свойственные правому полушарию, формируются от момента рождения до 5–6-летнего возраста, а осуществляемые левым полушарием по общим, отвлеченно воспринятым признакам классификации можно считать более-менее совершенными к 14–16 годам [Фарбер, Бетелева 1985]. «Левое полушарие обрабатывает информацию дискретно, последовательно, аналитически... Правое полушарие обрабатывает информацию целостно, одновременно, синтетически...» [Ильюченко и др. 1989: 12].



Вяч.Вс. Иванов (сотрудничавший некоторое время с В.Л. Деглиным) так объясняет эволюцию сосуществования и лингвистической работы полушарий мозга на протяжении человеческой жизни: «После того как грамматика родного языка уже усвоена ребенком, левое полушарие постепенно все больше и больше узурпирует функции, связанные с речью на родном языке. Этот процесс постепенного возрастания асимметрии двух полушарий длится чрезвычайно долго, почти на протяжении всей жизни человека. Правое полушарие в течение всей человеческой жизни продолжает обогащаться знаниями о мире, расширяющими систему значений слов» [Иванов Вяч.Вс. 1978: 50]. Однако следует помнить о том, что, прежде чем левое полушарие возьмет свое, правое полушарие будет одолевать ребенка эйдети́змом восприятия, то есть запоминанием целостных образов, различия между которыми не всегда осознаются: «Воспринимая мир целостно, маленький ребенок вместе с тем часто теряет грань, отделяющую реальность от фантазии, настоящее от прошлого, существующее от желаемого. <...> Особенно ярко проявляется этот характер примитивной психики в игре ребенка. Каждому из нас случалось видеть маленького ребенка, с величайшей серьезностью нянчившего обрубок дерева, сражавшегося с несуществующими врагами, игравшего с выдуманными подругами» [Выготский, Лурия 1993: 135–136].

Сам момент восприятия, несмотря на обыденное представление о его мгновенности, принято определенным образом структурировать. Еще И.М. Сеченов говорил о «среднем члене» между «внешним предметом» и «видимым образом», понимая под этим членом физиологический процесс, лежащий в основе видимого образа (ощущения), но несущий на себе отпечаток внешнего предмета (стимула) [Сеченов 1952: 452]. Современные нейрофизиологи делят момент восприятия на три этапа: сенсорный этап, на котором в результате реакции на стимул органов чувств они передают в мозг соответствующую информацию; второй этап, «отражающий синтез всей информации о стимуле, как наличной, так и хранящейся в памяти»; третий этап — «этап перцептивного решения», на котором «субъект должен опознать стимул, отождествив его с определенным, известным ему по прошлому опыту классом объектов» [Иваницкий, Стрелец, Корсаков 1984: 95–120]. В этой схеме обращает на себя внимание то, что упомянутая выше категоризация (названная в схеме отождествлением с тем или иным классом объектов) осуществляется по признаку известности воспринимающему субъекту таких классов объектов, что, как известно, наблюдается не всегда.

Совершенно очевидно, что до достижения ребенком 2-3-летнего возраста о категоризации в полном смысле говорить не приходится, по-

скольку до этого возраста дети не видят разнообразия категорий, к которым может быть отнесено то, что они воспринимают, по той причине, что их левые полушария еще не функционируют в должной мере. Можно прийти к выводу, что прежде всего ребенок воспринимает каждый объект целостным, не расчлененным на признаки, по которым его можно отнести к разным категориям. На первый взгляд, целостное, конкретное (не абстрактное), связанное с работой только правого полушария мозга восприятие наблюдается лишь на этапах крика, молчаливой улыбки, плача, гуления, лепета и холофраз — с постепенным возрастанием внимательности. На этапах распада холофраз, телеграфной словесной речи и образования более близких к взрослой речи протопредложений ребенок, как может показаться, приступает к категоризации объектов, однако на деле она оказывается формальной. Так, Л.С. Выготский в отношении 3-летних детей полагает, что «слова, которые они употребляют, вызывают у них наглядные целостные недифференциальные образы объектов, каковые и являются значением этих слов...» [Выготский 1984: 81–82], то есть такие дети еще не воспринимают признаки, необходимые для категоризации. «На ранних этапах овладения языком ребенок относится к слову как к признаку конкретного предмета, его неотъемлемому свойству — замечает В.Л. Деглин. — Этот этап речевого развития имеет даже специальное название — стадия номинального реализма. Очень постепенно в онтогенезе слово отщепляется от объекта и из признака предмета превращается в обобщающее понятие» [Деглин 1996: 144].

Восприятие объекта в виде нерасчлененного гештальта, то есть восприятие без категоризации в левом полушарии мозга, обычно называют синкретичным. Понятие 'синкретизм детского восприятия' введено в научный обиход швейцарским психологом Э. Клапаредом (синкретизм Ж. Пиаже считает главной характеристикой раннего детского мышления — см. выше). Встречаются и другие трактовки синкретизма, отличия которых обуславливаются специфическими потребностями разных дисциплин [БЭС 2002: 1099; Кондаков 1975: 542], но все эти толкования включают интегральную для них сему 'нерасчлененность' (вспомним также, что С.Д. Кацнельсон синкретами называет холофразы [Кацнельсон 2001: 339 и сл.]). Следовательно, мы имеем основание назвать такое восприятие синкретичным и обозначить его соответствующей аббревиатурой **СВ** (синкретичное восприятие). Это I степень восприятия.

Дж. Лакофф считает, что начальные гештальные образы являются «категориями базового уровня», которые ребенком «усваиваются в первую очередь; затем ребенок продвигается по ступеням иерархии вверх посредством генерализации и вниз — посредством специализации. <...>

общий внешний вид является главным определителем базового уровня» [Лакофф 2004: 55-56, 79]. По Дж. Лакоффу, категории базового уровня абстрактны. Например, так понимается «концепт базового уровня 'стул', занимающий промежуточное положение между концептами общим ('мебель') и частным (к примеру, 'плетеный стул'): «...мы имеем ментальные образы стульев — абстрактные образы, не соответствующие какому-нибудь отдельному стулу...» [Там же: 78]. Очевидно, можно было бы выразить эту мысль точнее, используя форму ед. ч. слова *стул*: мы имеем абстрактный образ стула как обобщенный инвариант всех возможных разновидностей стульев. Именно такое понятие — 'стул вообще' — находим у А.Д. Кошелева: «Нетрудно видеть, что инвариантом всех ... лексических значений является абстрактный образ стула» [Кошелев 2008: 38].

Однако более пристальное внимание следует уделить другому факту. Существенным и, наш взгляд, спорным моментом в концепции Дж. Лакоффа является признание того факта, что 1) базовые категории считаются абстракциями, но 2) усваиваются ребенком в первую очередь. Приведенные выше и показанные ниже (в настоящей главе) данные позволяют говорить о том, что в первую очередь ребенок усваивает еще не абстрактные категории, а конкретные проявления того, что его окружает. Можно допустить, что, например, при восприятии первого в жизни ребенка стула его левое полушарие «требует» категоризации или даже автоматически осуществляет ее (что, впрочем, маловероятно — см. ниже предоставленные С.А. Бурлак сведения о развитии дендритов нейронов коры головного мозга ребенка). Но в этой ситуации — до того как ребенок воспримет другие стулья (структурный аспект) или предназначения стула (функциональный аспект) — категоризировать нечего, поскольку без сравнения с подобными явлениями невозможно отвлечься от их несущественных признаков (такое отвлечение — первая ступень абстрагирования) и нечего дифференцировать и обобщать (обобщение — вторая ступень абстрагирования). Эти ступени могут рассматриваться и как самостоятельные сущности, но общепризнанным является то, что без отвлечения обобщение невозможно [Кольцова 1967: 303]. Отсутствие отвлечения от несущественных признаков стула и следующего за этим обобщения всех возможных стульев по их существенным признакам не позволяет говорить об абстрактности гештальтного образа стула при первом восприятии его ребенком. Аналогичным образом некорректно фиксировать абстрактные образы в приведенных М.А. Кронгаузом примерах восприятия эскимосами и саами новых для них видов животных: сомнительно, что, впервые увидев одно такое животное, представители этих народов получают абстрактное о нем представление.

А.Д. Кошелев, говоря о концепции Дж. Лакоффа, полагает, что «в основе базового (родового) концепта лежит не просто «общий внешний вид», а структурированный внешний образ, т.е. целостный образ вместе с его партитивной структурой — составом и взаимным расположением его самых крупных (непосредственно составляющих) частей» [Кошелев 2008: 17]. Данное наблюдение, как представляется, конкретизирует ориентиры, в направлении которых ребенок в схеме Дж. Лакоффа «продвигается по ступеням иерархии вверх посредством генерализации и вниз — посредством специализации» (см. выше), ибо восприятие деталей, или признаков, ведет к категоризации по ним. Но, как мы постарались аргументировать это выше, до восприятия деталей-признаков ребенок доходит не «с первого взгляда».

Для отнесения объекта к какой-либо категории ребенок должен воспринять его существенные и несущественные признаки. Но к такому восприятию ребенок этой возрастной группы еще не готов, поскольку оно ему еще не дано в силу недоразвития на этом этапе ветвей дендритов нейронов его «левого мозга»: «К моменту рождения структура дендритов нейронов коры головного мозга человека немногим совершеннее, чем у крысы... Но со временем длина ветвей дендритов и число ветвей возрастает», — пишет С.А. Бурлак. Это возрастание можно считать вполне стремительным: у 2-хлетнего ребенка строение веретенообразной клетки отличается от строения этой клетки у взрослого гораздо меньше, чем от ее строения в момент рождения (см. монографию С.А. Бурлак [Бурлак 2011: 131], в которой автор при освещении данного вопроса ссылается на лекцию Б.В. Чернышева 2007 года). Однако этого в целом небольшого отличия вполне достаточно, чтобы зафиксировать значительную разницу в возможностях детского и взрослого восприятия существенных признаков. Поэтому в процессе познания, опираясь на данные ему эволюцией на этом этапе развития возможности, ребенок, блуждая по объекту незафиксированным взглядом (см. выше), замечает лишь один, причем, что особенно важно, ближайший (находящийся на виду, лежащий на поверхности), признак, который автоматически, но поверхностно считает существенным для категоризации объекта. Появление ближайшего признака в зоне восприятия ребенка может быть связано с двумя возможностями.

Возможность одна: этот ближайший признак в самом деле на виду один. Конечно, он может быть несущественным для данного объекта, но именно по данному признаку ребенок относит объект к соответствующей категории, к которой на самом деле данный объект может отношения не иметь. Это наблюдается в примере Ж. Пиаже о «Жаклин, когда она была Люсьен» (см. выше). Такое же детское восприятие можно было

бы наблюдать при упрощении условий опыта Ж. Пиаже и А. Шеминской с бусинками (см. там же). Например, если бы дети перекладывали бусинки из узкого высокого сосуда в узкий низкий (но по объему достаточный для этого количества бусинок), то наверняка в итоге были бы уверены лишь в одном: бусинок стало меньше, — поскольку в их восприятии имелся бы в первую очередь признак уменьшения высоты сосуда, воспринятый ими как единственный. «Если разные законы перцептивной организации, — пишет Б.М. Величковский, — конфликтуют между собой, «навязывая» разные варианты группировки видимых компонентов сцены, то победителем обычно оказывается фактор близости, причем близости в *трехмерном пространстве*, а не на сетчатке» [Величковский Т. 1, 2006: 209]. Нейрофизиологи фиксируют ту же закономерность: «выделение «существенного» свойства предмета (или предметов) есть, по сути дела, выделение физиологически наиболее сильно действующего свойства: на ранних этапах развития деятельности мозга — это те свойства, которые вызывают сильный ориентировочный рефлекс» [Кольцова 1967: 307]. «Закон близости» является первым из шести «законов перцептивной организации», сформулированных представителями гештальтпсихологии (М. Вертгеймером, В. Кёлером, К. Коффкой, К. Левином, К. Дункером), сконцентрированной на фактах целостного восприятия объектов-«фигур» на определенном «фоне» (понятия фигуры и фона ввел в научный обиход Э. Рубин), наряду с законами «сходства», «замкнутости», «симметрии», «хорошего продолжения» и «общей судьбы» (см. об этом [Зинченко 1987: 5; Величковский Т. 1, 2006: 54–55]). Ф. Оллпорт выделяет шесть феноменов восприятия, один из которых имеет отношение к описанному выше первому закону гештальтпсихологии — перцептивному закону близости: сенсорное качество, фигура и фон (см. выше о роли фигуры и фона в действии закона близости), константность, система отсчета, предметный характер и избирательный характер (см. об этом в [Общая психология... 2007: 21–28]).

Ориентация на ближайший признак обнаруживается в разных проявлениях языковой способности ребенка. С.Л. Рубинштейн предлагает различать два вида речи: контекстную, значение которой есть значение входящих в контекст полнозначных слов, и ситуативную, значение которой становится понятным благодаря тому, что употребляемые в ней неполнозначные слова, прежде всего местоимения 3-го лица, подкрепляются различными дейктическими показателями ситуации, в том числе невербальными, прежде всего жестами. По его наблюдениям, у дошкольника речь всегда ситуативна, не контекстна. «Ситуативность проявляется в речи ребенка в многообразных формах. Так, в частности, ребенок в своей речи

либо вовсе упускает подразумеваемое им подлежащее, либо по большей части заменяет его местоимениями. <...> В качестве характеристики предмета сплошь и рядом фигурирует «такой», причем подразумеваемое содержание этого эпитета поясняется наглядным показом: ручонками с большой внешней экспрессией демонстрируется, такой ли большой или такой маленький. Какой он, не сказано, а, в лучшем случае, показано» [Рубинштейн 1973: 118]. «Жестовую» особенность детской коммуникации отмечает и Х. Би: «Маленькие дети часто комбинируют одно слово с жестом, создавая «двусловное сообщение»...» [Би 2004: 260]. То есть в описанных случаях наблюдается ориентация — согласно перцептивному закону близости — на пока единственно наличествующий его ближайший признак: местоимение или жест. Лексическое значение полностью — во всей понятийной системе дифференциальных признаков — ребенком еще не усвоено.

Обозначим такое поверхностное, категоризирующее по ближайшему признаку, восприятие аббревиатурой **ПВ** (поверхностное восприятие). Это II степень восприятия.

Возможность другая: при восприятии, в том числе категоризации, объекта ближайший признак на виду не один, то есть наблюдается альтернатива признаков. Но выбор признака для категоризации по нему в данном случае осуществляется случайно. Именно такая ситуация наблюдается в опыте Ж. Пиаже и А. Шеминской с бусинками: дети ориентировались лишь на один признак, но, поскольку в этом случае ближайшими оказались два признака — уменьшение высоты и увеличение высоты, — блуждающие детские взгляды с присущей блужданию случайностью фиксировали признаки либо один, либо второй. То же произошло бы с Жаклин, если бы она имела двух младших сестер-близнецов или младших сестер с небольшой разницей в возрасте: выбор объекта как опорного признака категоризации оказался бы случайным. Такое поверхностное восприятие, случайно категоризирующее по ближайшему признаку, можно было бы обозначить аббревиатурой СПВ (случайное поверхностное восприятие), но мы не делаем этого потому, что количество признаков, реально находящихся перед субъектом, не имеет никакого значения для результата, представляющего собой восприятие только одного признака — независимо от того, сколько их было перед субъектом. Его взор может блуждать по статичным признакам и остановиться на одном из них (как это было в опыте Ж. Пиаже и А. Шеминской) либо может быть направлен на постоянно меняющиеся (двигающиеся) признаки и методом стоп-кадра зафиксировать один из них — альтернативность признаков такой субъект не воспринимает точно так же, как и при

описанном выше ПВ. Этого, на наш взгляд, достаточно, чтобы не фиксировать в качестве особого вида случайное восприятие лишь одного из движущихся «перед глазами» признаков.

Следующие — после поверхностной ориентации на ближайший признак — преодоления ребенком перцептивных проблем состоят в развитии возможности восприятия альтернатив. Так, говоря об интеллектуальном развитии ребенка, Ж. Пиаже сообщает и об отношении ребенка к воспринимаемым им новшествам: «Случайно возникшие новшества либо игнорируются, либо ассимилируются предыдущими схемами и воспроизводятся через посредство круговой реакции. Однако наступает момент, когда новшество становится интересным само по себе. <...> При этом новый факт должен быть достаточно сходным с ранее известным, чтобы пробудить интерес, и вместе с тем достаточно отличным от него, чтобы не вызвать пресыщения. Круговые реакции состоят в таких случаях в воспроизведении нового факта, но воспроизведении с вариациями и активным экспериментированием, целью которого является как раз выделение из этого факта новых возможностей» [Пиаже 1969: 160]. В данном фрагменте можно выделить два важных для нашего исследования положения: 1) новые факты вызывают интерес ребенка, только если их отличия от уже известных невелики — именно это сходство может привести к их смешиванию при восприятии; 2) для ребенка подсознательно существенно, чтобы новые факты предоставляли новые возможности, и из этого зеркально следует, что если новых возможностей нет, то новые факты не воспринимаются как показатели развития и потому из восприятия исключаются. То есть к этому типу восприятия относится способность категоризации как одного объекта только по одному — существенному — признаку из альтернативных конкурирующих (императивное отношение), так и двух объектов по двум существенным для каждого из них и потому не конкурирующим друг с другом признакам (диспозитивное отношение). Понятия императивности и диспозитивности впервые появились в юриспруденции, нормы которой, по меньшей мере с XIX века в российской традиции, принято делить на императивные (повелительные, прецептивные), не терпящие альтернативы, и диспозитивные (распорядительные), предполагающие сосуществование альтернативных предписаний в случае дифференциации условий их применения [Коркунов 2010: 180–190]. Любопытно, что возможность / невозможность выбора в определениях этих норм не оговаривается, однако по признаку альтернативности / неальтернативности, представляющему собой привативную оппозицию, они очень ясно различаются. Принципиальное различие

между императивностью и диспозитивностью оказалось вполне применимым к языковой вообще и грамматической в частности вариантности. Так, Л.И. Скворцов юридические термины «императивный» и «диспозитивный» предлагает применять к языковым нормам: под императивными языковыми нормами понимать «обязательные реализации, вытекающие из возможностей структуры», а под диспозитивными языковыми нормами – «рекомендации, которые даются с оглядкой на структуру или выступают как следствия тех или иных теоретических или культурно-исторических предпосылок» [Скворцов 1970: 50; Скворцов 1980: 35]. Очевидно, что понимание Л.И. Скворцовым императивности как «обязательности» и диспозитивности как «рекомендации» очень близко к юридическому, но оно не препятствует более абстрактному пониманию императивности как принятия части альтернативы и диспозитивности как принятия всей альтернативы.

Восприятие, категоризирующее альтернативы императивно или диспозитивно, логично разделить на два вида и обозначить соответствующими аббревиатурами: **АИВ** (альтернативно-императивное восприятие) и **АДВ** (альтернативно-диспозитивное восприятие). Это III степень восприятия, которую можно считать перцептивной нормой. Поскольку о нормальном состоянии нет необходимости говорить много, примеры нормального восприятия ребенком, а в следующих двух главах — первобытным (древним) и современным цивилизованным человеком — каких-либо явлений мы не приводим. АИВ и АДВ как примеры достижения нормальной степени восприятия показаны нами на материале русского синтаксического согласования в главе 4.

Важно понимать, что границы между степенями восприятия часто оказываются относительными. Например, невосприятие признака само по себе есть следствие СВ, но такое невосприятие может иметь причину: восприятие другого признака — и тогда это ПВ. Аналогично ПВ уступит место АИВ и АДВ, если обнаружится, что воспринимается не один признак, а признаковая, как правило бинарная, альтернатива, следствием чего является императивный выбор одного из альтернативных признаков или диспозитивный выбор каждого из них, обусловленный соответствующими потребностями.

Не следует также думать, что целостное, гештальтное, восприятие на этапе категоризации альтернатив прекращается. Оно по-прежнему имеет место благодаря непрекращающемуся функционированию «правого мозга», но уже с существенным отличием от предыдущих своих состояний: теперь фиксируемые им образы-гештальты являются расчлененными,

структурированными и категоризированными работой левого, доминантного, полушария человеческого мозга. На каждом следующем этапе восприятия наблюдается все большая интенсификация работы левого полушария, в то время как правое полушарие функционирует постоянно. В результате формируются понимания, характеризующиеся разными уровнями абстрактности:

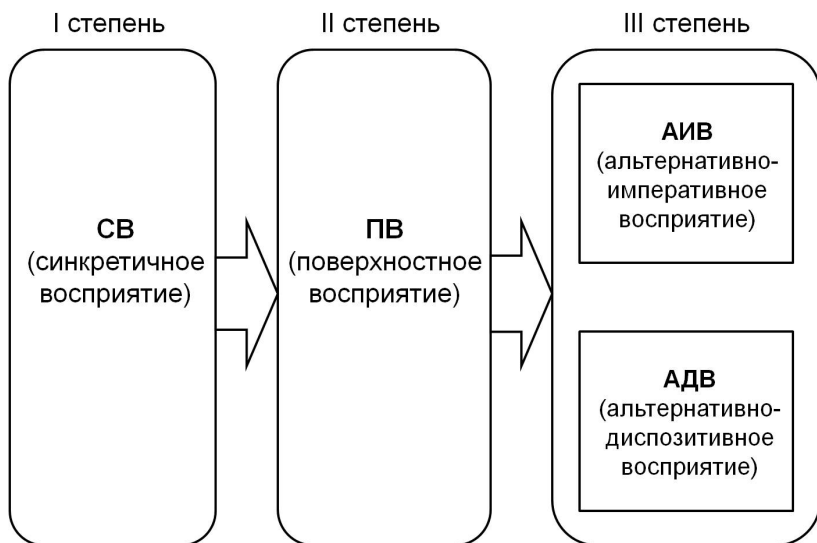
1) конкретное понимание гештальта как единственного в своей денотативной отнесенности является следствием некатегоризирующего, синкретичного восприятия (СВ), в котором задействовано только правое полушарие: так «додвухлетний» ребенок воспринимает находящийся в его комнате стул как единственный в мире;

2) неполноценное понимание гештальта является следствием восприятия, категоризирующего по ближайшему признаку, или поверхностного восприятия (ПВ), что обусловлено недостаточным функционированием левого полушария: так 2-3-хлетний ребенок воспринимает в функциональном отношении все разновидности стульев как предметы, на которых можно только сидеть, а не, скажем, как предметы, на которые можно становиться, чтобы достать высоко лежащие вещи, или как предметы, которые можно выстроить в один ряд боковыми сторонами друг к другу, спинками в одну сторону и получить таким образом подобие дивана, или как предметы, которыми можно подпирать дверь, чтобы ее нельзя было открыть с другой стороны (конечно, существует множество способов использования стульев вплоть до самых неожиданных);

3) абстрактное выведение инварианта структурированного гештальта является результатом восприятия, категоризирующего альтернативы, то есть альтернативно-императивного или альтернативно-диспозитивного восприятия (АИВ или АДВ): таково когнитивно зрелое, с активным участием левого полушария (правое, как мы помним, работает постоянно), восприятие стула как предмета мебели, представленного множеством видов структур и функций.

Таким образом, мы зафиксировали три степени восприятия с соответствующими им видами восприятия: I) синкретичное восприятие (СВ), II) поверхностное восприятие (ПВ), III) альтернативно-императивное восприятие (АИВ) и альтернативно-диспозитивное восприятие (АДВ) (см. ниже схематическое изображение степеней восприятия, а также расшифровку соответствующих аббревиатур в конце монографии, перед «Содержанием», в разделе «Условные обозначения»). Эти аббревиатуры будут использованы как характеристики видов восприятия в дальнейшем изложении.

СТЕПЕНИ ВОСПРИЯТИЯ



Для изучения особенностей детской речи большую ценность представляют дневниковые записи родителей, особенно родителей-лингвистов. Именно такой научно значимой работой являются наблюдения профессора Александра Николаевича Гвоздева, тщательнейшим образом отследившего все моменты усвоения русской грамматики сыном Женей, впоследствии погибшим на фронте во время Великой Отечественной войны. Подробные сведения А.Н. Гвоздева подтверждают общие и частные выводы психологов и лингвистов об этапах развития детской речи.

По данным А.Н. Гвоздева, в возрасте от 1 года до 1 года 10 месяцев в речи Жени наблюдались лишь однословные предложения, а именно предложения, состоящие из одного слова-корня. «Одно и то же слово-предложение в различных случаях служит выражением разных сложных значений... Расчленение слова-предложения на два (или больше) члена мысли — отсутствует... ...слова являются неизменными по своему фонетическому виду при различ-



Александр Николаевич Гвоздев
(1892–1959)

ном их использовании». Например, *papa* в значениях 'папа' и 'папин', *мака* в значении 'молоко', «усвоенное, по-видимому, из фраз «хочешь молока», «на молока» (этап холофраз; СВ). К 1 году 9 месяцам постепенно появляются предложения из двух слов-корней, но кроме количественного никакого другого прогресса они собой не представляют: это такие же, как и однословные, застывшие грамматические формы [Гвоздев Ч. 1, 1949: 30–34] (этап распада холофраз: первый шаг от СВ к ПВ). До 1 года 9 месяцев — только единственное число существительных, нет форм изъявительного наклонения, есть только императив, инфинитив и слова-корни типа *бай-бай* = *спать* [Там же: 43, 55] (этап телеграфной речи и первых попыток построения предложений).

Такое же СВ констатирует французский психолог А. Валлон: «Ребенок не умеет объединить между собой различные моменты даже с помощью слабой или частичной связи. Смысл и применение слов «до» и «после» для него еще непостижимы, хотя он уже в течение многих месяцев владеет речью. И дело здесь не в трудности этих понятий самих по себе. Трудность заключается в том, что обозначение времени и его четкая идентификация требуют последовательного обозначения одного и того же периода времени различными терминами — «завтра», «сегодня», «вчера». Такая относительность связи слов и явлений предполагает удвоение плана психической деятельности, что возможно лишь на довольно высокой ступени умственного развития ребенка» [Валлон 1967: 155]. А.Н. Гвоздев эти факты СВ подтверждает примерами того, что до 1 года 10 месяцев в речи ребенка нет форм прошедшего времени. До 2-х летнего возраста отсутствует постфикс *-ся*, хотя по смыслу совершенно очевидно, что глагол возвратный: *атала* = *осталась*. После исполнения ребенку 2-х лет постфикс начинает появляться в виде *-цца*. Только ближе к 2 годам 4 месяцам появляется союз *и*. Причастия крайне редки [Гвоздев Ч. 1, 1949: 56, 89, 92]. Что касается отрицания, то сначала оно никак не выражено: надо употребляется и в значении 'не надо', затем оно появляется в виде *нет*: *нет дам* = *не дам*. Все падежные формы вначале (к 2 годам) закрепляются без предлогов: *пойдем лавочку*, *купаться речке* и т. п. К 2 годам 6 месяцам предлоги перестают пропускаться. До двух лет усваивается примыкание наречия и инфинитива. Подчинение существительному усваивается позже, чем подчинение глаголу. Поздно (в сравнении с существительными, глаголами и наречиями) усваиваются прилагательные: до 2-х лет — только 3 прилагательных. Даже однокоренные с прилагательными наречия типа *скоро*, *вкусно* появляются раньше прилагательных (видимо, потому, что характеризуют коммуникативно более важный глагол или коррелируют с ним функционально). Прилагательные

начинают массово появляться с 2-х летнего возраста: в большинстве своем — качественные (это объясняется тем, что относительные значения выражаются родительным падежом существительных). Согласование прилагательных с существительными происходит одинаково и в функции определения, и в функции сказуемого: в функции сказуемого прилагательное всегда наблюдается в полной форме. Согласование в падеже усваивается к 2 годам 7–8 месяцам, а вот согласование в роде идет тяжело (в силу нелогичности-случайности присвоения родовых характеристик неодушевленному существительному) и более-менее закрепляется к 3-м годам. До 6 лет в составном именном сказуемом наблюдается почти сплошное обратное согласование: практически нет творительного предикативного при связке. С большим трудом усваиваются родовые различия. «...усвоение известного грамматического значения последовательно опережает усвоение его внешнего выражения». Например, ед. и мн. ч. усваивается уже к двум годам, «раньше всех других категорий усваивается число существительных (около 1, 10), так как разница между одним и несколькими предметами особенно наглядна», но «усвоение образования множественного числа от разных типов существительных не вполне закончено и в шесть лет». Одушевленность до 4-х лет почти не идентифицируется: винительный совпадает только с именительным. Одушевленность очень медленно формируется в возрастном диапазоне 2–4 года [Гвоздев Ч. 2, 1949: 10, 21–24, 66–67, 80–81, 147–148, 151, 180–181].

М. Томаселло обращает внимание на то, что в 2 года дети оперируют конструкциями как рамками, очерченными конкретным глаголом с присущим ему управлением, в которые можно подставлять разные существительные [Tomasello 2003: 140], например *дай + существительное* (*куклу, машинку, конфету* и т. д.). О том же сообщает Б.М. Величковский: «...судя по всему, ребенок в этом возрасте еще не использует готовую систему синтаксических правил по отношению к любым глаголам, а скорее усваивает некоторые избранные глаголы с набором типичных грамматических конструкций» [Величковский Т. 2, 2006: 106] (этот период языковой компетенции ребенка называют также «фазой глагольных островов» [Бурлак 2011: 129]).

В речи Жени Гвоздева в 2 года 2 месяца — 2 года 8 месяцев отмечалось и такое явление, как уподобление окончания прилагательного окончанию согласованного с ним существительного: *пАльц'ку мАл'ин'ку* [Гвоздев 1961: 439] (СВ). Как справедливо замечает Л.С. Выготский, «отсутствие грамматических форм в речи служит явным признаком того, что в речевом мышлении и обозначении ребенка отсутствует указание на связи и отношения между предметами и явлениями, потому что имен-

но грамматические формы являются знаками, выражающими эти связи и отношения» [Выготский 1991: 51]. О том же, но в отношении владения лексикой, в свое время говорил И.И. Срезневский: «...чем отдаленнее от детского разумения какие-нибудь понятия или представления, тем менее и в доле языка, им усвоенной, слов, которыми можно их выразить» [Лекции И.И. Срезневского... 1986: 104]. А.С. Чикобава приводит подобный приведенным выше пример синкретизма восприятия: «Девочку двух с половиной лет спрашивают, показывая мандарин и апельсин, чего ей хочется: *мандарина или же апельсина*. Ответ звучит: *Или же апельсина*. Вспомогательное слово *или* для девочки не представляет члена синтагмы с определенной функцией. *Или же* в ответе девочки оказалось соединенным с полнозначным словом. Вспомогательные слова еще не выполняют своей функции» [Чикобава 1967: 25].

Известнейшим наблюдением Ж. Пиаже в отношении детского поведения является фиксация «эгоцентричности» речи: «Эта речь эгоцентрична прежде всего потому, что ребенок говорит лишь о себе, и именно потому, что он не пытается стать на точку зрения собеседника. Собеседник для него — первый встречный. <...> Ребенок говорит сам с собой, как если бы он громко думал. Он ни к кому не обращается» [Пиаже 1994: 17]. Описанный эгоцентризм подтверждается и языковыми данными: до 2 лет 6 месяцев в речи ребенка почти нет форм 2-го л. ед. ч. и совсем нет форм 2-го л. мн. ч. [Гвоздев Ч. 1, 1949: 127]. Согласно наблюдениям М. Томаселло, 2-хлетний ребенок лишь примерно в каждом четвертом случае отвечает на тот вопрос, который ему задают, но к 3-хлетнему возрасту — уже почти в каждом втором [Tomasello 2003: 267], то есть коммуникативный прогресс ребенка можно считать вполне стремительным. Л.С. Выготский экспериментально доказывает, что эгоцентричная речь на самом деле есть озвученная внутренняя речь, сопровождающая процесс познания, речь, которая, постепенно сокращаясь внешне, превращается целиком в речь внутреннюю, присущую не только ребенку [Выготский 2005: 51]. Разумеется, сведение эгоцентричной речи к озвученной внутренней речи, сопровождающей процесс познания в любом возрасте, есть понимание логичное, но оно не объясняет, почему вначале эта внутренняя речь озвучивается, а затем нет. Объяснение представляется возможным: эта речь перестает озвучиваться потому, что ребенок начинает понимать, что в озвученном виде она не принесет ему ничего, кроме проблем с окружающими взрослыми, которые в лучшем случае «думание вслух» не одобряют, а в худшем — высмеивают. Следовательно, причиной ухода такой речи внутрь является восприятие ребенком окружающих. А из этого в свою очередь следует, что раньше эта внутрен-

няя речь озвучивалась лишь потому, что ребенок этих окружающих как источник проблем не воспринимал (ср. с приведенными выше данными А.Н. Гвоздева о том, что «соединяющий в том числе себя с другими» союз *и* появляется в речи ребенка лишь к 2 годам 4 месяцам, которые абсолютно коррелируют с приведенными выше данными М. Томаселло о возрастных вехах восприятия ребенком задаваемых ему вопросов). То есть и эгоцентричность детской речи можно объяснить главной особенностью детского восприятия I степени — синкретизмом (СВ).

Очень важно понимать, что детское поверхностное восприятие (ПВ) является логичным по-своему, как опирающееся на некачественные данные, то есть нелогичность выводов (суждений, умозаключений) при таком восприятии относительна. Из этого следует, что при обнаружении нелогичных выводов (нарушении силлогизмов) не следует говорить о развитии / недоразвитии логического мышления — мышление всегда (хотя бы относительно) логично; следует говорить о развитии / недоразвитии восприятия. Известно, что многие взрослые-нефилологи (да и филологи — не всегда исключение), замечая в речи детей неправильные грамматические формы и нередко по этому поводу нервничая, стремятся корректировать эти неправильности, например исправляя *писаю* на *пишу*, не задумываясь о том, что дети допускают такие нарушения по (логичной по своей сути) аналогии с большинством существующих подобных форм, то есть форм системных, а исключения из правил языковой системы по причине их несистемности еще не воспринимают. Как замечает Э. Косериу, «прежде чем узнать традиционные реализации для каждого частного случая, ребенок узнает систему «возможностей», чем объясняются его частые «системные образования», противоречащие норме ... и постоянно исправляемые взрослыми» [Косериу 1963: 237]. На эту же системность детской речи постоянно обращает внимание С.Н. Цейтлин. Восприятие системы возможностей без восприятия исключений из нее, приводящее к таким формам, как *писаю, искаю, мыньсь, победу, плакаю, ухи, человеки, стулов, ножница, видел ону, вкусные печенья, хорошая папа*, свидетельствует не только о не вполне развитом восприятии, но и об абсолютной логичности детского языкового мышления, создающего формы по образцам наиболее частотных и потому в первую очередь воспринимаемых ребенком парадигм. Именно логичность детского мышления объясняет трудное усвоение детьми родовой принадлежности слов, ибо родовые характеристики слов в большинстве случаев (кроме случаев обозначения половых различий) весьма условны, то есть не могут быть обоснованы логическими законами. Логичным является и образование детьми форм ед. и мн. ч. у всех имеющихся в языке существительных, в

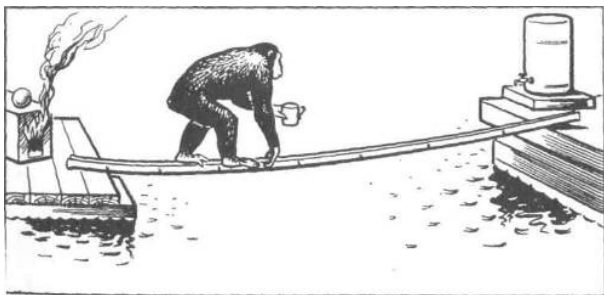
том числе парных, абстрактных и вещественных [Цейтлин 2000: 115–122, 92–98]. Данные факты детских речевых «неправильностей» — еще одно свидетельство и универсальности логических законов, работающих независимо от их осознания, и неполной логичности «взрослой» грамматики. Кроме того, эти факты заставляют усомниться в категоричности выводов Ж. Пиаже о полной алогичности детского мышления в этом возрасте.

Описанные А.Н. Гвоздевым этапы лингвистического развития Жени позволяют зафиксировать, что основные — вполне достаточные для коммуникации — элементы грамматики он усваивал в период с двух до трех лет. По причине необыкновенной интенсивности процесса такого усвоения соответствующий ему период называют «языковым (или грамматическим) взрывом». Именно в этот период происходит переход от СВ к ПВ, а затем и к АИВ и АДВ. По мнению А.Д. Кошелева, «языковой взрыв представляет собой одно из наиболее явных и непосредственных следствий «человеческого» этапа когнитивного развития ребенка» [Кошелев 2008¹: 196]. Автор называет данный этап «человеческим» с целью подчеркнуть, что с его началом лингвистическое и последующее когнитивное развитие ребенка перестает быть сопоставимым с таким же развитием у антропоида (см. выше приводимые С.А. Бурлак данные о почти «взрослочеловеческом» строении веретенообразной клетки у 2-хлетнего ребенка, хотя в момент его рождения она была настолько неразвитой, что почти не отличалась от строения такой клетки у крысы). Начиная с 3-хлетнего возраста ребенка исследователи отмечают у него рост каузальных способностей [Шэффер 2003: 360; Крайг, Бокум 2007: 339–340]. Как отмечает Л.Е. Берк, 3-4-хлетние дети «употребляют логические, каузальные выражения, например *если – то* и *потому что*, с той же степенью точности, что и взрослые...» [Берк 2006: 393].

А.Д. Кошелев склонен считать, что уже к 4-хлетнему возрасту ребенка его мышление переживает (после состоявшегося на год раньше «языкового») «логический взрыв», проявляющийся в способности видеть уже не только ситуации расчлененными на некоторых участников, но и самих участников состоящими из деталей [Кошелев 2008¹: 208–209], что, на наш взгляд, не может, как и в случае с «языковым взрывом», не объясняться прогрессом восприятия, постоянно увеличивающим перцептивно-когнитивный отрыв взрослеющего ребенка даже от наиболее развитых во всех отношениях представителей животного мира. Речь идет об антропоидах, из которых к человеку по уровню когнитивного развития ближе всего шимпанзе.

Широкою известность приобрел опыт с шимпанзе Рафаэлем (лаборатория в Колтушах): «У Рафаэля выработали цепь условных рефлексов:

взять кружку ..., открыть кран, налить в кружку воды и потушить огонь в спиртовой горелке, за которым лежало яблоко... Со всем этим багажом знаний Рафаэля погрузили однажды на плот, плавающий по колтушинскому озерцу, и предложили ему решить знакомую задачу — погасить спиртовку и добыть себе лакомство. Кружку положили в ящик здесь же, на этом плоту. Рядом с ящиком положили шест. А на втором плоту поставили бак с водой, снабженный краном. Как только Рафаэлю дали возможность действовать, он открыл ящик, достал кружку, перебросил жердь на другой плот, перебрался на него, налил в кружку воды и, вернувшись назад, залил огонь и достал приманку. В следующий раз за огнем снова положили яблоко, но в бак не налили воды. Горел огонь. За ним таилась лакомая добыча. Вокруг была вода, целый пруд воды. Но, приученный наливать ее только из бака, шимпанзе не сообразил



зачерпнуть воду за бортом» [Право на интеллект...] (ПВ).

В связи с этой историей можно вспомнить категоричное замечание А.А. Леонтьева: «...у ребенка (человеческого) интеллектуальный акт близок к интеллектуальному акту обезьяны» [Леонтьев А.А. 1984: 17]. Однако ребенок в возрасте старше 3-х лет с задачей, стоящей перед Рафаэлем, справился бы, набрав кружкой воды из озера, даже не подумав перебрасывать жердь на другой плот, чтобы идти за водой к бочке, когда вокруг себя он воспринимает столько воды (АИВ). В этом и состоит качественный отрыв когнитивной способности ребенка от такой же способности у антропоида, что обусловлено у последнего более ранней предельностью развития восприятия (максимум ПВ), нежели у человека.

Относительность, подвижность границы между СВ и ПВ обнаруживали и подопытные шимпанзе В. Келера (антропоидная станция на о. Тенерифе, 1912–1920 гг.), в частности прославившийся сообразительностью Султан. Например, при решении задачи достать лежащий за решеткой банан (до которого было невозможно дотянуться рукой или ногой), Султан оказался единственным из всех подопытных шимпанзе, сразу догадавшимся отломать для этой цели ветку от лежавшего неподалеку сухого дерева. Однако, находясь перед той же решеткой, за которой тоже не близко лежал банан, к которому был привязан конец лишь од-

ной из нескольких по разным траекториям проложенных из-за решетки к плоду веревок, шимпанзе в первую очередь дергал за ту веревку, которая вела к плоду кратчайшим путем, и совершенно не воспринимал «статусы» концов этих веревок, то есть не интересовался тем, одна или не одна из них привязана к плоду [Келер 1998: с. 59–60].

В качестве примера достаточно разумного поведения антропоидов приводят рассказ о шимпанзе Ладе и Нева (из лаборатории в Колтушах), которые изыскивали остроумный способ пододвинуть к себе связку ключей от вольера (которыми они уже умели открывать замок), лежащую на стоящем рядом с вольером столе, но так далеко, что рукой до нее дотянуться было нельзя: Лада и Нева отбили край столешницы у стола, стоящего в вольере, с помощью полученной таким образом палки подтянули к себе оконную штору, набросили ее на ключи, шторой пододвинули ключи к вольеру и взяли их (затем открыли замок и вышли из вольера) [Фирсов 1987]. Несложно понять: целью обезьян было получение ключей, исходя из возможностей ситуации они изобрели орудие-палку, а затем воспользовались и шторой как орудием в функции палки. Эти «палки» функционально аналогичны копьям, с которыми сенегальские шимпанзе охотятся на галаго, прячущихся в дуплах деревьев, закалывая этих мелких полуобезьян наугад [Pruets, Bertolani 2007]. Так что подобные орудия, как и камни для разбивания орехов (если нужно — с использованием естественных и даже иногда искусственных наковален) [Read 2008; Марков 2008], для шимпанзе — давнее достижение. Об их умении, соединив две палки, получать даже составное орудие, а также изготавливать другие орудия и осознанно пользоваться ими В. Келер писал век назад [Келер 1998: 120–184] (опыты В. Келера с шимпанзе подробно анализируются в [Выготский, Лурия 1993: 23–64]). Свойственная ПВ ориентация на ближайший признак не исключает вероятности восприятия орудийной функции предмета.

Но представим себе экспериментальное продолжение этой истории (которого на самом деле не было, но которое напрашивается как абсолютно аналогичное продолжению эксперимента с Рафаэлем). Допустим, Лада и Нева каждый день добывают связку ключей с помощью палки и шторы, но однажды ключи оказываются на расстоянии вытянутой руки. Что сделают испытуемые — возьмут ключи рукой, проявив АИВ, или в стиле Рафаэля станут заложниками сложившегося стереотипа ПВ, по-прежнему действуя палкой и шторой? Не удивимся, если испытуемые выберут второе. Шимпанзе, как образно выразилась известная приматолог Н.Н. Ладыгина-Котс, — «раб прошлых навыков, трудно и медленно перестраиваемых на новые пути решения» (цит. по [Резникова 2006: 10]).

Ж.И. Резникова пишет, что стереотипы шимпанзе «легко превращаются в ритуалы, которые в меняющихся обстоятельствах становятся бессмысленными и даже мешающими. По свидетельству многих приматологов, обезьяны всех видов склонны настаивать на повторении собственных действий, которые однажды привели их к успеху» [Резникова 2006: 13]. Раз восприняв путь к успеху, они не воспринимают другие пути к нему.

Языковое развитие детей старше двух лет по мере их взросления становится все более несравнимым и с возможностями коммуникации антропоидов. Множество результатов так называемых «языковых проектов», то есть программ обучения человекообразных обезьян незвуковым (человеческие звуки они воспроизвести не могут в силу неразвитости артикуляционных средств) человеческим языкам (амсленам) или жестовому языку (йеркишу), созданному специально для общения с шимпанзе, свидетельствуют о том, что они усваивают и употребляют до нескольких сотен знаков-референтов, адекватно пользуются местоимениями, применяют синонимы для обозначения одного и того же предмета, умеют обманывать, понимают значение порядка слов, могут вести короткие диалоги, иногда передавать информацию об отсутствующих предметах, событиях прошлого и планах на будущее, считать примерно до 4-х (что доказывает наличие определенной, причем не самой начальной, степени абстрактного мышления) и даже в некоторой мере понимать устную человеческую речь, но в целом эти умения не превосходят лингвистические умения 2-хлетнего ребенка [Зорина, Смирнова 2006; Зорина 2008].

Начиная с двухлетнего возраста, входя в период «языкового / грамматического взрыва», ребенок все чаще оперирует абстрактными символами, в то время как антропоид продолжает пользоваться ситуативными сигналами до конца своей жизни [Сергиенко 2008: 339–341]. Данному различию в последние годы найдено и генетическое объяснение: группой Сванте Паабо в Институте эволюционной антропологии общества Макса Планка (Лейпциг) обнаружен ген FOXP2, отвечающий предположительно за работу мозга, легких, кишечника, однако в большей степени его связывают с развитием языковых навыков. «Отличительной особенностью гена, — замечает Вяч.Вс. Иванов, — является крайняя его консервативность. За 75 миллионов лет, которые на эволюционной лестнице разделяют мышшь и шимпанзе, изменилась только одна аминокислота, тогда как человека от шимпанзе отличает целых две аминокислоты (чем подчеркивается связь данного гена с эволюцией человека разумного; в последнее время выявлено наличие изменения гена, сходное с произошедшим у человека, также у неандертальца, что может привести к пока еще недоказанной гипотезе о возведении этого изменения ко времени

предполагаемого существования у них общего предка...)» [Иванов Вяч. Вс. 2008: 182].

Ближе к трехлетнему возрасту у ребенка намечается преодоление синкретизма и поверхностности восприятия: появляется восприятие альтернатив: АИВ и АДВ. В.В. Шульговский и А.Д. Кошелев отмечают, что в трехлетнем возрасте наблюдается развитие такого коррелирующего с «грамматическим взрывом» явления, как восприятие деталей объектов (партитивное восприятие), ранее воспринимавшихся целостно [Шульговский 2003: 403; Кошелев 2008¹: 193, 195–196]. В этот же период, то есть в пределах периода «языкового взрыва», дети перестают воспринимать целостно фразы, выделяя в них составляющие [Deacon 1997: 139; Tomasello 2003: 37], что свидетельствует о большей синтаксической компетентности, формальные основания роста которой закладываются в возрасте до 2-х лет на этапе распада холофраз. Партитивное восприятие объектов окружающей действительности и языковых явлений с гносеологических позиций является операцией дифференциации, предшествующей в познании операции интеграции [Левин 2001: 281–282; Теория развития... 2009] (К. Левин математическому термину «интеграция» предпочитает термин «организация», хотя в данном случае, очевидно, вполне применим и термин «обобщение»; однако мы вслед за большинством других лингвистов предпочитаем термин «интеграция» как наиболее диаметрально противопоставленный термину «дифференциация»). Не остается никаких сомнений в том, что к «языковому взрыву», в том числе к такому его проявлению, как партитивное восприятие языковых явлений, приводит не только когнитивное, но и пересекающееся с ним перцептивное развитие ребенка, в свою очередь обуславливающее большую логичность его суждений.

Впрочем, имеется область человеческого знания, постижение которой дается ребенку с наибольшим трудом. Речь идет об усвоении понятия числа, наиболее абстрактного из всех человеческих понятий. В силу такой абстрактности, обеспечиваемой еще не очень хорошо функционирующим у дошкольника и младшего школьника левым полушарием мозга, ребенок вовсе не в состоянии воспринимать числа как абстракции. Согласно краткой, но удачной характеристике Г.Г. Шпета, числа есть «мир, где два, пять и т. д. не суть ни вещи, ни люди, ни блага» [Шпет 1996: 39]. Числительные, будучи словами, обозначающими такие наиболее абстрактные понятия, появляются в детской речи далеко не сразу. По сведениям А.Н. Гвоздева, только к 3-м годам появляется множественное число глагола при только что вошедшем в употребление числительном *два*. Числительные *три* и *четыре* появляются только к 4 годам [Гвоздев

Ч. 1, 1949: 180–181]. Интересно заключение Л.С. Выготского: «Ребенок начинает считать задолго до того, как он понимает, что такое счет, и осмысленно применяет его» [Выготский 1984: 90]. Это формальный, не истинный счет. В самом деле, если дошкольника, особенно младшего, спросить, сколько ему лет, то чаще всего в ответ можно увидеть комбинацию из пальцев, которую он составил методом перечисления чисел до соответствующего его возрасту или которую просто запомнил в результате ее показа родителями, пекущимися о внешнем интеллектуальном имидже их чада. Не случайно изучение счета даже современные ученики младших классов начинают с параллельным применением эмпирически верифицируемых сущностей — счетных палочек, то есть предметов, которые можно легко считать (но когда нет счетных палочек, дети применяют старый, проверенный, надежный «счет на пальцах»).

Разумеется, недостаточность абстрактного мышления, приводящая к случайной ориентации на то, что находится рядом, не позволяет дошкольнику в полной мере продемонстрировать владение приемами логического мышления. Д.Б. Эльконин, ссылаясь на кандидатское исследование У.В. Ульянковой 1954 года «Психология дедуктивных умозаключений у детей дошкольного возраста», пишет: «...правильная самостоятельная дедукция доступна лишь очень немногим детям трехлетнего возраста. Заметные сдвиги намечаются начиная с 4 лет. В конце дошкольного возраста больше половины детей справляются с решением подобных задач» [Эльконин 2005: 228] (ср. с убежденностью А.Д. Кошелева в том, что именно в 4 года ребенок переживает «логический взрыв» — см. выше). Этапы формирования дедуктивного мышления у детей дошкольного возраста по У.В. Ульянковой таковы: «На первом этапе ребенок не оперирует никакими общими положениями, не обосновывает своих утверждений, а если и дает обоснование, то самое случайное. На втором этапе ребенок уже оперирует общим положением, но оно еще неадекватно отражает реальную действительность. Он пытается обосновать свое решение ссылкой на некоторое обобщение, но такое, которое выведено по случайным, внешним признакам. На третьем этапе ребенок оперирует общим положением, в какой-то мере уже отражающим существенные стороны действительности, но не охватывающим всех возможных случаев» [Там же: 229] (первый этап — СВ, второй и третий этапы — ПВ). Подтверждается мнение Л.С. Выготского по этому поводу: «Подобно тому как грамматическое развитие детской речи идет впереди развития логических категорий, соответствующих этим речевым структурам, и овладение внешними формами логического мышления, особенно в применении к внешним конкретным ситуациям в процессе наглядного и действенного

мышления, идет впереди внутреннего овладения логикой» [Выготский 1984: 90].

На втором подуровне дооперационального мышления в возрастной схеме Ж. Пиаже (от 5–6 до 7–8 лет) «успехи координационной ассимиляции разделяют индивида и класс, и наборы больше не являются произвольными, они заключаются в небольших множествах, не имеющих пространственной конфигурации. Только оперирование понятиями «все» и «несколько» далеко от завершения. <...> Что касается фундаментальных форм построения заключений, таких как транзитивность $A(R)C$, если $A(R)B$ и $B(R)C$, то на данном уровне ребенок еще ими не владеет. ...если ребенку показывают три стакана разной формы, причем в A находится красная жидкость, в C — синяя, а в B ничего нет, и затем за ширмой меняют местами содержимое A и C посредством B , то ребенок, видя этот результат, считает, что жидкость была перелита напрямую из A в C и одновременно из C в A » [Пиаже 2004: 41–43] (о свойстве и законе транзитивности см. [Кондаков 1975: 615; Ивин 2004: 167]). В этом возрасте ребенок пытается абстрагироваться от тесно связанной в восприятии связи формы и цвета. Он уже воспринимает новые связи формы и цвета и осознает, что формы «поменялись цветами», но у него не было возможности зрительно воспринимать использование для такого обмена третьей (пустой) формы, а догадаться о таком ее использовании он еще не силах, потому что на практике еще не познал такую возможность, потому и демонстрирует ПВ.

А.В. Запорожец сообщает о 5-летней девочке, одновременно наблюдавшей за тем, как мать готовила коржики, и созерцавшей звездное небо за окном кухни. Девочка пришла к выводу, что звезды «делают из лишней луны». «По-видимому, девочка видела, как мать вырезала из теста большой коржик, а из остатков делала маленькие» [Запорожец 1986: 203]. Эта девочка нашла путь-ответ «старым проверенным методом» восприятия лишь того, что в данный момент оказалось перед ее глазами (ПВ). Безусловно, в 5 лет она изъясняется не холофразами, не использует в больших количествах местоимения и не прибегает к помощи жестов, но продемонстрированный ею механизм восприятия по-прежнему несовершенен. Из этого следует, что описанный А.Д. Кошелевым «когнитивный взрыв» имеет далеко не абсолютный характер даже в отношении одного и того же ребенка, который время от времени все равно проявляет начальные степени восприятия, хотя, конечно, чаще ПВ, нежели СВ.

В этом возрасте детям тоже трудно абстрагироваться от конкретно-вещественного наполнения чисел: «Например, ребенку предлагали закончить задачу, придумав к ней вопрос: «Ехали 6 танков, два сломались...», ребенок продолжал: «Их починили, и они поехали дальше».

Другая задача: «Мама съела 4 конфеты, а сыну Мише дала 2. Сколько конфет они съели вместе?». Малыш не решает этой задачи, так как его волнует описанная в ней несправедливость, и он говорит: «А почему она Мише так мало дала? Нужно, чтобы было поровну». Воспринимая текст задачи, ребенок прежде всего видит в нем описание некоторых реальных событий, где собственно числовые данные имеют второстепенное, вспомогательное значение», — констатирует А.В. Запорожец [Запорожец 1986: 205].

Ж. Пиаже, оценивая детскую речь с позиций формальной логики, с изумлением фиксирует непонимание детьми дошкольного возраста противоречий: «Некоторые дети на все фразы, которые им предлагают дополнить, дают явно фантастические ответы: Мур (6 л.), «Жан уехал, несмотря на то что он уехал в горы»; «Эмиль играет на улице, несмотря на то чтобы не быть раздавленным автомобилями» [Пиаже 1994: 224]. «Выраженное противоречие, иначе говоря, противоречие, обозначаемое союзами подчинения... , понимается, по-видимому, лишь к 11–12 годам и уж не раньше 10 лет» [Пиаже 1994: 226]. (В речи Жени Гвоздева из причинных союзов до возраста 4 года 7 месяцев употреблялся только *потому что* [Гвоздев Ч. 2, 1949: 45]). Совершенно ясно, что дело здесь не столько в непонимании противоречия самого по себе, которое представляется Ж. Пиаже «фантастическим», сколько в неверном понимании семантики подчинительных союзов, по сути — невосприятии этой семантики (СВ). Трудно ожидать знания этих значений от 6-летнего человека, еще не употребляющего в своей речи придаточных предложений, присоединяемых именно такими союзами. Л.С. Выготский по этому поводу высказывается достаточно категорично: «...ребенок, как правило, всегда овладевает раньше внешними формами, чем внутренней структурой какой-нибудь мыслительной операции. <...> В речи ребенка имеются такие союзы, как «потому что», «если бы», «хотя», задолго до того, как в его мышлении появляется сознание причинности, условности и противопоставления» [Выготский 1984: 90]. О невосприятии противоречий дошкольниками и младшими школьниками пишут и Д.Б. Эльконин [Эльконин 2005: 203], и многие другие исследователи. Лишь «наличие придаточного предложения обнаруживает то, что ребенок овладел уже очень сложными отношениями между различными явлениями» [Выготский 1991: 51]. Незнание ребенком синтаксических явлений объяснимо синкретизмом восприятия: принимая средство общения «язык» в целом, ребенок еще не способен дифференцировать его нюансы, но — уже не в целом в языке, а на высшем, синтаксическом, языковом уровне.

Второй период действий растущего ребенка (от 7–8 до 9–10 лет) Ж. Пиаже называет «стадией конкретных операций» [Пиаже 2004: 44]. На этой стадии тоже выделяются два подуровня. Первый подуровень стадии конкретных операций (около 7–8 лет) Ж. Пиаже связывает с «решающим поворотом в построении инструментов познания: интериоризированные или концептуализированные действия, которыми до поры довольствовался субъект, приобретают статус операций, то есть обратимых преобразований, изменяющих одни переменные, а другие сохраняющих неизменными» [Там же: 44]. Второй подуровень стадии конкретных операций (около 9–10 лет) «является этапом, на котором достигается общее равновесие «конкретных» операций, в дополнение к частичным формам, которые уже достигли равновесия на первом уровне» [Там же: 59].

Однако психологи фиксируют ранневозрастные «феномены Пиаже» и у детей этого возраста. Так, Д.Н. Узнадзе пишет: «Даже в возрасте 8–10 лет ребенок все еще продолжает оставаться в плену наглядности, он еще не способен заметить и выделить отвлеченные признаки» [Узнадзе 2004: 338]. Например, в одном из экспериментов, связанных с определением групп фигур по определенным признакам, «испытуемая определяет группу по тому признаку, который она при восприятии фигур заметила в первую очередь» [Узнадзе, 1966: 110] (ПВ). О поверхностном восприятии, наблюдаемом у младших школьников, пишет выдающийся психолог и педагог П.П. Блонский [Блонский 1964: 173–201]. Вот что он замечает по поводу представлений таких школьников о лесе: «Для самой ранней стадии представлений школьников о лесе характерно, во-первых, то, что лес обычно представляется как определенный конкретный частный лес, в котором был ребенок: «Я был в лесу, я видел там белку», «Лес у нас густой» и т. д. Вторая характерная особенность — та, что представляются главным образом те животные и растения, которые ребенок может видеть в лесу: «В лесу очень много грибов», «В лесу живут ужи» и т. д. Представление о лесе еще очень частное, и основной источник его — непосредственное зрительное восприятие самого ребенка» [Там же: 177]. То есть представить себе лес абстрактно, в отвлечении от его конкретных проявлений, эти школьники еще не в состоянии. Это может быть следствием восприятия не всех существенных признаков леса, то есть ПВ. Наглядность восприятия и представления у младших школьников фиксирует и Л.И. Божович: «Ребенок от 7 до 11 лет мыслит преимущественно наглядными представлениями, на которые он опирается в ходе рассуждения. Очень ясно эта особенность детского мышления обнаруживается в определении понятий. При определении абстрактных понятий младшие школьники стремятся перевести эти понятия в наглядные образы, напол-

нить их конкретным содержанием. Например, слово «добро» младшие школьники определяют так: «Добро — это когда надо помочь отстающему приготовить уроки». Объясняя значение слова «разум», один мальчик сказал: «Это когда мне жарко, и я не пью сырой воды» [Божович 1995: 36]. Здесь наблюдается та же неспособность детей абстрагироваться от признаков, заметных в первую очередь (ПВ). Нередко порицается ПВ учебного материала: «Отождествление внешних опознавательных признаков предметов с содержанием соответствующего понятия приводит к тому, что его подлинные предметные свойства остаются в обучении нераскрытыми» [Давыдов 2004: 87]. Обзор работ, посвященных трудностям усвоения школьной грамматики в младших классах, вызванным неумением отличать грамматические значения от лексических, различать части речи, то есть неспособностью абстрагироваться от лексических значений и тем самым осуществлять грамматическое обобщение, см. в [Давыдов 1972: 111–134].

Наконец, в третьем периоде, на стадии «формальных операций» (11–12 лет), Ж. Пиаже фиксирует последний этап процесса, «ведущего к освобождению операций от связи со временем, то есть на самом деле от психологического контекста, чтобы в итоге достичь того вневременного характера, который свойствен чистым логико-математическим связям» [Пиаже 2004: 66].

По свидетельству Л.С. Выготского, логическое мышление в явном виде впервые наблюдается в подростковом возрасте: «...интеллект подростка отличается стремлением быть логичным. Это стремление проявляется прежде всего в критицизме и большей требовательности к тому, чтобы высказываемое доказывалось. Подросток усиленно требует доказательств». Одним из свидетельств этого положения является тот факт, что «промежуток в 14–17 лет обыкновенно является в школьной практике стадией максимально интенсивного математического образования» [Выготский 1984: 61–62].

Тем не менее, если основной массив грамматики (под которым, судя по всему, понимаются словообразовательная продуктивность и морфологическая регулярность) усваивается к 6 годам, то высший ее уровень — синтаксический — в этом периоде воспринятым и познанным по-прежнему назвать трудно. Я.Э. Ахапкина исследовала письменную речь (изложения) современных 10–12-летних пятиклассников и выявила ряд таких ошибок (демонстрирующих ПВ): смещение границы предложения (*Этот случай произошел недавно. Недалеко в горах, когда пастух потерял сознание. Собака загнала овец в хлев*); местоименная избыточность (*Она <собака> сначала загнала овец в загон, а потом вернулась. Она по-*

тащила своего хозяина в деревню); смысловая недостаточность, вызванная незаполнением обязательной валентности элемента (*Люди увидели у порога <порога дома в деревне> пастуха, потерявшего сознание*); смещение фокуса высказывания (*Однажды далеко в горах, когда пастух пас овец, он потерял сознание*); вариативная тавтология (*Она согнала овец в стадо и загнала в загон, потом она вернулась к пастуху и потащила его в деревню*) [Ахапкина 2010: 253–254].

Если 12-летние дети в идеале должны, но не могут продемонстрировать отсутствие поверхностности восприятия, то исследователи вправе рассчитывать хотя бы на отсутствие у них СВ. Однако 13-летний (!) герой рассказа И.Э. Бабеля «Пробуждение» не оставляет им и этого шанса. Будучи принужденным родными заниматься музыкой, не задумываясь о последствиях в виде сурового наказания от отца за ослушание, он каждый день уходит со скрипкой из дому якобы на урок музыки, в то время как сам проводит время в порту, после чего возвращается домой как будто после очередного урока игры на скрипке [Бабель 1989]. В течение всего повествования герой рассказа ни разу не вспоминает о наверняка неизбежном возмездии (демонстрируя СВ): «Дела поважнее заняли все мои помыслы» [Там же: 230] (впрочем, с другой стороны, это восприятие можно трактовать и как ПВ, поскольку герой воспринимает ближайшую возможность избежать неприятного обучения, но не воспринимает неизбежность наказания). Вряд ли можно всерьез говорить о том, что он, помня о расплате, сознательно гнал от себя эту мысль или был к этой расплате мужественно готов (его поведение в момент открытия ужасной для родных правды свидетельствует об обратном: завидев учителя музыки, идущего к их дому, герой успевает добежать до уборной и там запереться). Более того, нам известны современные жизненные аналоги этой истории с абсолютно таким же недалёковидным детским поведением (тоже обусловленным нежеланием учиться музыке) примерно в том же возрасте.

В предположении, что научно-технический прогресс может ускорять когнитивное развитие современных дошкольников, Л.Ф. Обухова применила методы Пиаже в исследовании их мировоззрений и пришла к следующим выводам: «...новая информация не может не отразиться на содержании мышления ребенка. Однако новые знания не позволяют еще ребенку преодолеть эгоцентрические иллюзии. <...> Рома К. отвечает на вопрос «Откуда взялись реки?» так: «Водород смешался с кислородом и получилась вода, потом откопали яму» [Обухова 1981: 140]. Понятно, что информацию о воде как результате смешения водорода и кислорода ребенок воспринял из окружающего его информационного пространства,

содержащего подобные знания, но его представление о **выкапывании** (а не **откапывании**) ямы для русла реки представляет собой ПВ, поскольку обусловлено возможностью воспринять и, как следствие, представить только одну возможность осуществления углублений в земле — «искусственную». Современный ребенок может считать, что солнце не падает потому, что «держится за тучи» [Там же: 139] (ПВ), и это несомненный прогресс, поскольку в опытах Пиаже на такой вопрос дети отвечали: «Потому, что рядом находятся облака» (то есть не указывали на способ удерживания солнца рядом с облаками). По свидетельству Л.Ф. Обуховой, «современные дети уже в шесть лет считают, что сон можно увидеть только «умом». Дети в экспериментах Пиаже достигали ответов такого типа лишь в 9–10 лет» [Там же: 143]. В целом же Л.Ф. Обухова приходит к выводу, что «простое накопление, стихийное усвоение знаний не меняет формы мышления, и это соответствует идеям, постоянно развиваемым Пиаже» [Там же: 142]. Из этого следует, что современные дети демонстрируют прогресс восприятия немного быстрее, чем это происходило раньше, но фазы (периоды) этого прогресса остались неизменными.

Подведем итоги. Детское восприятие и детская грамматика, вне всяких сомнений, ограничены биологическим фактором. Не вполне совершенное по естественным биологическим причинам, страдающее синкретизмом или поверхностностью детское восприятие поставляет детскому мышлению и соответствующей ему грамматике неполные и недостоверные данные, и мышление с грамматикой функционируют, опираясь на эти данные и на универсальные логические законы в той мере, в какой им это позволяют уровни развития мозга и абстрактного мышления ребенка. Проблемы логического мышления и грамматики ребенка в подавляющем большинстве случаев сводятся к синкретизму восприятия, проявляющемуся в неразличении деталей (СВ), или — по перцептивному закону близости — к ориентации на ближайший признак (ПВ).

ПВ, безусловно, идентично ориентации адъектива или глагола на ближайшее существительное (подлежащее) из двух однородных, поскольку неближайшее не воспринимается. Речь идет о сочетаниях, избранных нами в качестве «диагностических» при сравнении данных лингвистики и смежных с ней наук: *мой отец с матерью* и *изучалась математика и химия*.

Детское восприятие, категоризирующее альтернативы — императивно (АИВ) или диспозитивно (АДВ), — постепенно развивается, но о его абсолютном характере говорить не приходится.

ГЛАВА 2

ПЕРВОБЫТНОЕ ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕРВОБЫТНЫХ ГРАММАТИКАХ: СИНКРЕТИЗМ И ПОВЕРХНОСТНОСТЬ КАК ПРЕДЕЛЬНЫЕ СТЕПЕНИ ВОСПРИЯТИЯ

Если говорить о «самых первых» людях на Земле, о которых ученым известно очень мало, то по некоторым скудным данным об их способностях можно сказать следующее.

Согласно концепции А.Д. Кошелева, существенным показателем развития или неразвития мышления ребенка (логический взрыв в 4 года — см. предыдущую главу), антропоида и древнего человека является восприятие партиитивности, то есть восприятие объектов состоящими из частей. Этот показатель особенно нагляден в орудийной деятельности. Из трех названных видов существ партиитивности не достигают только антропоиды, оставаясь в когнитивном развитии на уровне трехлетнего, а в языковом отношении — двухлетнего ребенка (см. предыдущую главу). Они чаще всего не хранят ситуативно добытые или полученные от человека орудия, бросая их при отсутствии регулярной потребности. Древний человек, наш предок, конечно, достиг восприятия партиитивности (на уровне ПВ), но далеко не сразу. Хорошо известно, что человек умелый (*Homo habilis*) не совершенствовал свои каменные орудия на протяжении десятков тысяч лет. «Более того, — замечает А.Д. Кошелев, — даже появление около 150 тыс. лет назад человека анатомически современного вида (*Homo sapiens sapiens*) не привело к резкому скачку в развитии орудийных технологий. Этот скачок произошел лишь около 50 тысяч лет назад». Появившиеся в это время, преимущественно костяные, предметы — рыболовные крючки (предполагающие привязывание их к «леске»), швейные (то есть с ушками) иглы, пуговицы (предполагающие фиксацию в петлях одежды), застежки (соединяющие части одежды) — являются классическими изобретениями, возможными только при партиитивном восприятии объектов. По мнению А.Д. Кошелева, «креативный взрыв», произошедший около 50 000 лет назад и создавший современного человека, был вызван наступлением у неандертальца следующего этапа развития, соответствующего уровню ребенка 3–5 лет... В свете сказанного естественно полагать, что язык неандертальца был гораздо богаче языка двухлетнего ребенка и «говорящего» антропоида, но гораздо беднее полноценного человеческого языка, формирующегося у ребенка к 4–5 годам» [Кошелев 2008¹: 216–218]. Язык неандертальца,

впрочем, как показывают исследования его гортани, был, скорее всего, не более чем жестовым [Иванов Вяч.Вс. 1978: 76–77] (в приведенных ниже, более ранних, размышлениях А.А. Леонтьева данное обстоятельство еще не учитывается).

По мнению А.А. Леонтьева, «суждения» неандертальца еще нельзя назвать силлогистическими, «правильнее будет их назвать чувственно-практическими», то есть, как и у ребенка, синкретично привязанными к чему-то близкому (ПВ), в данном случае — к практической деятельности. Как замечает А.А. Леонтьев, если неандерталец считал, что люди смертны, то имел в виду лишь тех, в смерти которых он имел опыт убедиться, но о том, что в будущем смертны те, кто сейчас живы, он сказать не мог [Леонтьев А.А. 1963: 120]. Опыт ориентирован только на прошлое и настоящее, поэтому не случайно: 1) грамматическое значение будущего времени является наиболее поздним в системе времен всех языков, являясь диахронической универсалией [Николаева 1990: 535]; 2) Аристотель считал, что открытый им логический закон исключенного третьего «следует ограничить одними высказываниями о прошлом и настоящем и не прилагать его к случайным высказываниям о будущем»; неприменимость этого закона к бесконечным множествам доказал голландский математик Л. Брауэр [Ивин 2004: 164–165]; Э. Косериу — вопреки современным идеям лингвопрогностики — полагает, что «будущее не является предметом познания, а предвидение — проблемой науки» [Косериу 1963: 305]; 3) бесконечность вширь (вперед в пространстве, в будущее во времени) признается человеком гораздо легче, чем бесконечность вглубь (назад в пространстве и времени) [Бурова 1987]. Нейрофизиологи в свою очередь предполагают, что правое полушарие человеческого мозга, характеризующееся гештальтностью и конкретностью восприятия и развивающееся раньше левого полушария (см. предыдущую часть), воспринимает события прошлого и настоящего, а развивающееся позже, характеризующееся аналитизмом и абстрактностью левое полушарие воспринимает события настоящего и будущего [Брагина, Доброхотова 1981: 145–190], что вполне объясняет показанные затруднения как с грамматическими показателями будущего времени в ходе развития языков, так и с научными представлениями о будущем, а также подчеркивает способность человека осознанно планировать будущее — благодаря работе в таком случае левого полушария — и отсутствие такой способности у животных. Относительно простое (чаще всего аналитическое) образование грамматических форм будущего времени в разных языках от форм настоящего времени, в отличие от своеобразного (далеко не всегда аналитического) образования форм прошедшего времени, коррелирует с предположением о на-

стоящем как базе для будущего в человеческом сознании: «Клинические наблюдения подсказывают, что будущее в сознании человека каким-то образом опосредуется, видимо, через настоящее. ... прошлое находится в обратной, а будущее — в прямой зависимости от настоящего времени: чем более оно актуально в сознании, тем более подавлено прошлое и тем более очерчено будущее» [Там же: 168–169, 172].

По мнению А.А. Леонтьева, предполагаемое у неандертальца осмысление действительности (заметим, что не только у неандертальца, но и у существовавшего параллельно кроманьонца, о чем в 1960-е годы еще не говорили) «косвенно свидетельствует о том, что у колыбели силлогистического мышления стоит мышление, которое можно назвать синпрактическим, то есть неразрывным с практикой» [Леонтьев А.А. 1963: 120]. Оно в полной мере отражает как биологические недостатки восприятия (и, как следствие, представлений) «неандертальца» (ПВ), так и его проблемы эпистемиологического свойства, то есть проблемы качества познания окружающей действительности, осуществляемого в основном при помощи правого полушария (СВ).

Прежде чем перейти к рассмотрению тех же характеристик у современных первобытных людей, которые, очевидно уже аксиоматически, считаются в культурном отношении менее развитыми, чем люди современные цивилизованные, обратимся к важному для нас положению, высказанному Л.С. Выготским. В результате наблюдений за афатиками ученый сформулировал безупречно логичный по своей сути нейробиологический закон: «...если внутри психомоторной сферы действие высшей инстанции становится слабым функционально, то самостоятельной становится ближайшая низшая инстанция с собственными примитивными законами» [Выготский 1984: 286]. Считаем не менее логичным вывести из этого закона предположение, что названное Л.С. Выготским «действие высшей инстанции» может не только ослабевать, но и по каким-то причинам не достигаться в ходе нормального в целом развития. И тогда люди остаются на более низкой стадии развития с соответствующими ей «примитивными законами». Это предположение, как мы покажем ниже, может быть применено к первобытным мышлению и грамматикам.

Представления о первобытных людях прошли определенный путь развития. Так, основоположник анимистического направления в этнографии Э. Тэйлор был настолько огорчен распространением и существованием вплоть до XIX века убежденности в том, что первобытные народы вначале были развитыми, как все остальные, а затем по каким-то причинам деградировали (ср. с показанной в части «Вместо введения» убежденностью Ф. Боппа и А. Шлейхера в том же, но в отношении язы-

ков), что в своем программном труде «Первобытная культура» посвятил целую главу доказыванию обратного [Тэйлор 1939: 15–42].

Следующим этапом постижения особенностей первобытного мышления была борьба с убеждением многих «цивилизованных» людей в умственной отсталости первобытных людей. А.А. Потебня метко называет такое убеждение «взглядом потомка, которому свой образ мысли, своя обстановка кажутся так естественны, что уровень мысли и обычая предков он готов считать (и действительно считает, как некоторые ученые — мифы) неправильным, болезненным отклонением от этой естественности» [Потебня 1968: 217]. В прогрессивной, антирасистской работе «Ум первобытного человека» известный антрополог, лингвист и естествоиспытатель Ф. Боас логично обосновывает некорректность провозглашения умственных способностей белых людей наиболее развитыми. Различия в уровнях социально-экономического развития человека современного и человека первобытного он объясняет чередой случайностей исторического развития [Боас 1926: 5–19]: благодаря различным — случайным — факторам разные этносы один и тот же путь проходят за разное время. Действительно, если, как полагает Л.Б. Вишняцкий в отношении человечества в целом, «наша состоявшаяся эволюционная история — это только один из многих потенциально существовавших ее сценариев, который, в отличие от других, не остался запасным лишь в силу во многом случайного стечения мало связанных между собой обстоятельств» [Вишняцкий 2004: 7], то есть разные человеческие виды, причем не только неандертальцы и сапиенсы, не сменяли один другой, а сосуществовали и даже конкурировали друг с другом на общем пространстве, но совершенно случайно выжили и в дальнейшем развились лишь сапиенсы, то логично допустить, что и внутри этого вида-победителя сосуществовали и сосуществуют его представители — по случайному стечению обстоятельств счастливики и неудачники, но с равными интеллектуальными возможностями. Отсутствие качественных различий между когнитивными способностями представителей разных этносов надежно подтверждается тем, что любой туземец, с момента рождения воспитываемый в британской, к примеру, среднего достатка семье, развивается в абстрактно мыслящую личность, а англичанин-маугли (конечно, не тот, выросший в волчьей стае, который в абсолютно неправдоподобно идеализированном виде представлен Р. Кипплингом) лишь внешне отличается от «воспитавших» его животных. Следовательно, первобытный человек отличается от современного человека лишь количеством опыта познания, а значит, вполне сопоставим на этом уровне с растущим в цивилизованной среде ребенком. Как замечает В.И. Абаев, имея в виду,

конечно, современных цивилизованных детей, «формирование сознания и речи у детей в «сгущенном» виде повторяет процесс формирования сознания и речи у первобытного человека» [Абаев 1993: 19]. В самом деле, не только простые обыватели, но и многие этнографы, некоторое время общавшиеся с представителями первобытных народов, единодушно отмечают инфантильность этих людей. Детские цивилизованные и как детские, так и взрослые первобытные представления весьма похожи. Например, если один цивилизованный ребенок случайно наступил на ногу другому такому же ребенку, у обоих возникает странное ритуальное стремление к тому, чтобы второй наступил первому на ногу в ответ, причем не в отместку, а «чтобы не поссориться» (впрочем, о том, что это делается с целью не поссориться, сейчас знают уже не все дети). Раньше дети ритуально-первобытно сцеплялись мизинцами, когда мирились, в один голос скандируя немудреный рифмованный силлогизм: «В мире, в мире навсегда кто поссорится — свинья. Ты свинья, и я свинья, — значит, вместе мы друзья». Сейчас чаще встречается подобное, насчет ссоры в узком смысле 'драки', рифмованное предложение, содержащее примитивную угрозу-предостережение: «Миришь, миришь, миришь и больше не дерись. А если будешь драться, то я буду кусаться». В любом случае это примеры ПВ.

А.Н. Леонтьев детским первобытное сознание не называет, высказывается осторожно: «первобытное сознание имеет совсем другое внутреннее строение, чем наше, ... характеризуется еще недифференцированностью смыслов и значений» [Леонтьев А.Н. 1981: 316], но такая недифференцированность, как мы знаем, и означает синкретизм восприятия и представления, свойственный детям (СВ). Это наблюдение в целом подтверждается большинством этнографов и этнопсихологов.

Так, Э. Тэйлор приводит поистине огромное количество примеров самых разнообразных проявлений первобытной логики (вслед за Л.С. Выготским и А.Р. Лурией [Выготский, Лурия 1993: 73] мы не считаем первобытные проявления абсолютно нелогичными). Не имея возможности даже кратко пересказать все примеры Э. Тэйлора, дадим наиболее показательные. Рассказывая о трех древних обычаях — реакции на чихание, принесении человека в жертву при закладке здания и спасении утопающего из страха перед подводными духами (например, перед «водяным»), — объясняемых почитанием мистических сил, Э. Тэйлор демонстрирует их распространенность по всей планете у различных этносов, никак друг с другом не контактирующих. Реакция на чихание у разных народов может быть и позитивной, и негативной (здесь человеческая мысль предполагает действие духов и добрых, и злых). Но реакция мистических сил

на непринесение указанной жертвы (желательно с замуравыванием ее в фундамент) и на спасение утопающего считалась неизменно негативной [Тэйлор 1939: 56–63]. Это примеры ПВ.

Создатель теории психологического эволюционизма Г. Спенсер аргументированно доказывает, что почитание духов предков (с непременными жертвоприношениями) как первобытная форма религии было направлено прежде всего на предотвращение бедствий и ниспослание удачи (и вовсе не объясняется чувством уважения, как это себе представляют многие цивилизованные люди): «Дикие всегда приписывают и свое счастье, и свое несчастье вмешательству мертвецов, которых они прогневали, или сумели заслужить их милость; принося им в жертву пищу, питье и одежду, дикие обещают всегда действовать согласно желанию мертвецов и просят только о помощи» [Спенсер 2008: 4]. Первобытный человек, как ребенок, пытается объяснить всё непонятное чем угодно, но в первую очередь тем, что согласно перцептивному закону близости находится «под рукой». Например, если находящиеся рядом соплеменники не обрушивали эту тяжелую ветку на голову товарища (он воспринял бы это действие зрительно), то это сделали не люди, а духи; но духи в представлении такого человека еще не могут быть абстрактными, — следовательно, эти духи суть те люди, которые сейчас не могут быть рядом, то есть умершие. Это одно из случайно воспринимаемых «подручных» объяснений, демонстрирующих ПВ.

Дж.Дж. Фрэйзер, автор фундаментального этнографического труда «Золотая ветвь», приводит никак не меньшее, чем у Э. Тэйлора, количество примеров первобытных представлений [Фрэйзер 2003], которые тоже объясняются инфантильными проблемами восприятия и, как следствие, объяснения действительности. Некоторые из этого множества примеров мы покажем. Прежде всего продемонстрируем открытый автором очень показательный обычай, который он назвал «детской игрой в воображаемых персонажей». Например, когда женщина-даяк (остров Борнео) рожала, один шаман помогал ей непосредственно в хижине, а второй вне хижины с привязанным к животу камнем, изображающим плод в утробе матери, имитировал роды (ПВ). Дж.Дж. Фрэйзер приводит множество примеров и других ритуальных имитаций: это как бы рождение ребенка заново при усыновлении (протаскивание ребенка под юбками приемной матери, наблюдаемое в том числе в ситуации усыновления Геракла Герой по просьбе Зевса); как бы рождение человека заново после того, как его преждевременно сочли умершим и совершили по нему погребальные обряды (для рождения заново у древних индусов требовалось сидение в лохани, наполненной смесью жира и воды); как бы «проведение курса лече-

ния не на больном, а на самом враче» (врач может притвориться больным и даже мертвым, а потом вновь оказаться живым и здоровым — больной, глядя на это и как бы «примеряя эту ситуацию на себя», выздоравливает) [Фрэзер 2003: 22–24] (ПВ).

Знаменитый этнолог, социолог и культуролог К. Леви-Стросс, побывавший в 30-е годы прошлого века с экспедициями в бассейне Амазонки, пишет об инфантильной непосредственности изучаемых им амазонских индейцев намбиквара: «Однажды, сидя на земле, я что-то записывал, но вдруг почувствовал, как чья-то рука тянет меня за полу рубашки: это одна из женщин нашла, что проще высморкаться таким способом, чем искать небольшую, сложенную вдвое наподобие щипцов ветку, которая обычно употребляется в таких случаях» [Леви-Стросс 1984: 154] (ПВ).

Выдающийся историк Л.Н. Гумилев, ссылаясь на рассказы своего современника — австралийского аборигена по имени Вайпуданья, сообщает: «аборигены убили белого, закурившего сигарету, сочтя его духом, имеющим в теле огонь. Другого пронзили копьем за то, что он вынул из кармана часы и взглянул на солнце. Аборигены решили, что он носит в кармане солнце» [Гумилев 2004: 18] (ПВ).

Очень похожи разнообразные мистические страхи («страшилки») современных цивилизованных детей и туземцев, например связанные с привидениями. Здесь наблюдается общая для детей и первобытных людей закономерность. Во многих первобытных языках, в частности африканских, «отдаленность выражается более низким, а близость более высоким гласным звуком. ...прилагательное с низким тоном и долгой гласной обозначает большой предмет, прилагательное с высоким тоном и короткой гласной — маленький. В глаголе низкая гласная выражает пассивное состояние, высокая — активное». Так же и в современной детской «в сказочных повествованиях о великанах и страшных чудовищах или о карликах и дружелюбно расположенных эльфах, о больших, возбуждающих ужас, существах рассказывается пониженным тоном, а о крошечных, приносящих счастье, — повышенным. ...и хотя первобытные народы — не дети, в языках их сохранились следы естественного выражения чувствований все же в более живой форме, чем в большинстве языков культурных народов» [Вундт 2002: 48–49].

Неабстрактная поверхностность восприятия приводит первобытного человека к убеждению, что все события его жизни самым тесным образом увязаны с тем, что является для него наиболее важным, а потому самым заметным при восприятии и, следовательно, служащим единственным объяснением жизненных явлений (ПВ): «Не раз мы говорили о том, что рис — единственное растение, которое, с точки зрения ряда народов

Индонезии (нгаджу-даяков, батаков, отданумов), имеет такую же душу или обладает такой же жизненной силой, что и человек, и, будучи человеческим существом, воплощает в себе представление о духах предков. Вспомним также, что цикл развития риса на поле уподобляется циклу развития человека в материнском лоне, что нашло выражение в соответствующей терминологии — «рисовой» по отношению к человеку и «человеческой» по отношению к рису». Например, при приближении родов говорят: «Ваш рис созрел», а если беременность окончилась неудачей, говорят: «Рис в рассаде» [Ревуненкова 1992: 53, 34–35]. Дж.Дж. Фрэйзер свидетельствует о том же: «Во время цветения риса в Амбоине жители говорят, что он готовится родить. Они не стреляют из ружей и не производят другого шума вблизи полей из боязни, как бы рис, если его потревожат, не сделал выкидыш или не разродился вместо зерна одной соломой» [Фрэйзер 2003: 127]. М. Коул свидетельствует, что все его попытки оптимизировать преподавание математики представителям либерийского народа кпелле (предпринятые в 1963 году) увенчались успехом лишь после того, как обучаемым были предложены примеры с рисом — главным продуктом в рационе кпелле. Стало понятным, почему раньше ученики, усвоившие на уроке показанное учителем действие $2 + 6$, с возмущением сочли несправедливым действие $3 + 5$ на том основании, что именно такой пример на уроке не рассматривался [Коул 1997: 92–96]. Объяснимо и постоянно фиксируемое М. Коулом явление немного лучшей обучаемости детей-кпелле при регулярном и продолжительном посещении ими занятий: налицо накопление жизненного опыта познания и его репродукция, запоминание в ущерб пониманию (ср. с неосмысленным употреблением союзов и чисел у цивилизованных дошкольников, глава 1). Весьма показательна в этом смысле древняя поговорка кпелле, которой М. Коул и С. Скрибнер завершают свою книгу «Культура и мышление»: «Я знаю, как нужно начать старый орнамент на холсте, но я не знаю, как нужно начать новый» [Коул, Скрибнер 1977: 246]. Это, как несложно удостовериться, противоположенная всякому творчеству антиимпровизация, возведенная в культ.

Общеизвестно также, что первобытные люди часто отождествляют человека с его изображением или тенью (это уже СВ), которая должна быть неприкосновенна так же, как ее хозяин, и никому не сообщают свое настоящее имя, поскольку полагают, что имя есть атрибут самого человека и этому атрибуту, а следовательно — и его носителю, может быть причинен вред недоброжелателями. Впрочем, если первобытному человеку кто-то нравится, он, как свидетельствует Н.Н. Миклухо-Маклай в отношении папуасов, может предложить обмен именами:

«...меня неоднократно просили в различных деревнях поменяться именем с каким-нибудь туземцем, которого я чем-нибудь отличил» [Миклухо-Маклай 1951: 86]. Рассмотрение имени как атрибута предмета свойственно и детям (см. предыдущую главу), и даже первым философам: «На ранних этапах развития философской мысли в слове видели атрибут предмета, а не название, которым человек снабдил предмет. Жан Пиаже показал, что детское мышление именно так и трактует названия предметов — как *свойства* последних; но такова же трактовка зрелого Аристотеля — он считал слово частицей сущности предмета. Такой философский взгляд на связь слов и вещей чрезвычайно далек от современного» [Грегори 1972: 169]. В.Л. Деглин тоже обращает внимание на то, что синкретичное неразличение слова и денотата «зарегистрировано в мифах разных народов — в Библии, в исландских сагах, даже в гомеровском эпосе» [Деглин 1996: 144] («даже» в данном случае излишне, если вспомнить о том, что Гомер жил на несколько веков раньше Аристотеля, обнаружившего то же СВ). Отсутствие абстрактной лексики в значимых для европейской культурной традиции текстах Гомера приводит исследователей к мысли о неспособности великого поэта-сказителя мыслить абстрактно (см. об этом [Коул, Скрибнер 1977: 15], а также см. выше мнение В.Л. Деглина). В настоящем абзаце уместно упомянуть и магические практики «выкалывания глаз» на фотографиях либо «причинения вреда» отлитым из воска или парафина фигуркам, символизирующим конкретных людей. Дж.Дж. Фрэзер свидетельствует: «Индейцы Северной Америки верят, что, нарисовав чью-то фигуру на песке, золе или глине или приняв за человеческое тело какой-то предмет, а затем проткнув его острой палкой или нанеся ему какое-то другое повреждение, они причиняют соответствующий вред изображенному лицу» [Фрэзер 2003: 20] (ПВ).

К. Леви-Стросс свидетельствует: «бороро считают, что их человеческая форма является переходной: между формой той рыбы, чьим именем они себя называют, и формой арапа, которой они заканчивают цикл своих перевоплощений» [Леви-Стросс 1984: 113]. Подобные представления, но уже вариативно разветвленные, имеются и у более цивилизованного этноса — современных хантов: «По одним данным, умерший «доживал» благодаря обратному течению времени до дня своего рождения и возвращался к живым в виде младенца; по другим — умерший превращался в медведя; по третьим — он умирал окончательно с разложением тела; по четвертым — в общество живых возвращался не сам человек, а его душа; по пятым — умирали окончательно как человек, так и его душа; по шестым — душа умершего вселялась в куклу, и т. д.» [Кулемзин 1991: 100] (любой из этих вариантов является демонстрацией ПВ).

Характерна постоянная корреляция духов, наполняющих представления первобытных людей, не с какими-то никогда не виданными существами, а с весьма определенными, то есть воспринимаемыми (раньше или сейчас), умершими предками (об этом уже говорилось выше) и окружающими животными. Посредниками в общении с такими духами являются колдуны. «Колдуном становятся по призванию, а нередко и после того, как человек заключает соглашение с членами очень сложной общности. Она состоит из злокозненных или попросту опасных духов, частично небесных (и тогда оказывающих влияние на астрономические и метеорологические явления), частично подземных, а частично относящихся к животному царству. Эти существа, число которых постоянно растет за счет душ умерших колдунов, ответственны за движение светил, за ветер, за дождь, за болезнь и смерть» [Леви-Стросс 1984: 115]. От колдунов-шаманов мало чем отличались когда-то даосские священники, которые в числе прочих действий «вели лечение больных, заговаривали и изгоняли злых духов» [Малявин 1991: 130]. Бессилием объяснить то, что неподвластно рассудку, обусловлены любые представления любой языческой религии с присущими ей неабстрактными по своей сути культом предков, анимизмом, тотемизмом, фетишизмом, магией и т. п. Индивидуальный и коллективный человеческий разум действует по принципу: «Объяснение должно быть всему, и прежде всего объяснить всё можно тем, что находится в зоне эмпирического восприятия в непосредственной близости» (ПВ). Ж. Пиаже, как говорилось выше, показывает, что непереносимое желание всему найти хоть какое-то (чаще всего поверхностное) объяснение постоянно наблюдается и у детей [Пиаже 1994: 118–121]. Человеку не просто смириться с мыслью, что он чего-то не в состоянии узнать: неведение его пугает.

Весьма примечательны откровения исследователей древних культур, уважительно именуемых «цивилизациями». «Любопытно, что содержание и предмет раннего письма, — пишет Р.Л. Грегори, — это не философия и не абстрактные размышления, а списки имущества, описания победных войн и тщательно разработанных ритуалов погребения покойников. Чрезвычайный интерес египтян к смерти был, по-видимому, продиктован не мыслями о сущности жизни, а стремлением обеспечить продолжение суеты земной на небесах» [Грегори 1972: 170]. А. Гарднер, автор «Египетской грамматики», не скрывает своего удивления: «Наиболее поразительной особенностью египетского языка на всех этапах является его конкретный реализм, сосредоточенность на материальных предметах... Оттенки мысли, заключенные в таких словах, как «возможно», «следовало бы», «едва ли», а также абстракции вроде «причи-

на», «побуждение», «долг» принадлежат более поздней стадии развития языка... Несмотря на то что греки приписывали египтянам бездну философской мудрости, египтяне, как никакой другой народ, обнаруживают отвращение к отвлеченным рассуждениям и полную погруженность в материальные интересы» (цит. по [Грегори 1972: 171]). Если вспомнить (см. выше) синкретичное восприятие Гомером, а затем и Аристотелем слова и денотата, означающее конкретность (неабстрактность) мышления, то в этом новом, достаточно неожиданном для европейского сознания свете, становится понятным, почему «греки приписывали египтянам бездну философской мудрости»: в плане абстрактности мышления «наиболее древние» греки вряд ли были развитее древних египтян и вряд ли понимали «философскую мудрость» так, как она понимается сегодня. Однако винить древних египтян и греков в материализме, меркантилизме и неабстрактности мышления было бы совершенно некорректно в силу нарушения в таком случае принципа историзма: таким, «синпрактично» мыслящим, человечество и было в древние времена — нет никакой научной возможности и такой же необходимости его идеализировать. Но в то же время приходится признать, что в плане развитости абстрактного мышления представители древних цивилизаций не настолько отличаются от представителей современных первобытных народов, чтобы не применять к их логическому мышлению и грамматикам термин «первобытные» (внутренняя форма слова *первобытный* такое применение допускает).

В фантастической повести А. и Б. Стругацких «Обитаемый остров» жители планеты Саракш полагают, что живут внутри огромной сферы, так как из-за сильной рефракции атмосферы и ее высокой плотности они не могут видеть звезды, зато эмпирически (зрительно) убеждаются в том, что уплывающий вдаль корабль постепенно поднимается вверх, растворяясь в воздухе [Стругацкий А., Стругацкий Б. 1992: 66–67] (это ПВ «зеркально» ПВ Земли как полусферы, покоящейся на слонах и/или китах). Жители вымышленного писателями Саракша нашли объяснение эмпирически достоверному явлению эмпирически правдоподобной — по перцептивному закону близости — причиной. Гораздо сложнее найти объяснение, когда причина, лежащая на поверхности, не выдерживает испытания-проверки чувственным опытом восприятия, а причина истинная неизвестна.

Крупнейший фольклорист В.Я. Пропп обращает внимание на отражение первобытного мышления в сказках. Говоря о различных первобытных табу, автор замечает: «Из всех видов запретов, которыми пытались защитить себя от демонов, являющихся в сказке в форме змеев, воронов, козлов, чертей, духов, вихря, кощея, яги, и похищающих женщин, деву-

шек и детей, — из всех этих видов запрета лучше всего в сказке отражен запрет покидать дом» [Пропп 1986: 44]. Это еще одно доказательство того, что первобытным человеком мистифицировалось все представляющее собой непознанную опасность и воплощенное в неприятных явлениях — реально-предметных (*вороны, козлы, вихрь*) или вымышленных, но ясно себе представляемых (*воздушные змеи, черти, духи, кощей, яга*). Несложно убедиться: каждый из этих образов — результат ПВ.

Как можно видеть, все эти примеры демонстрируют количественное, а не качественное различие между мировоззрениями первобытным и цивилизованным, и «количество» этого различия прямо пропорционально возможностям восприятия. Известный этнограф и психолог Л. Леви-Брюль всю свою жизнь настаивал на том, что указанное различие — качественное, что мышление первобытного человека имеет все основания существовать параллельно с нашим, что оно не алогично и не антилогично, а «пра-логично» и мистично. «Оно совершенно иначе ориентировано. Его процессы протекают абсолютно иным путем. Там, где мы ищем вторичные причины, пытаемся найти устойчивые предшествующие моменты (антецеденты), первобытное мышление обращает внимание исключительно на мистические причины, действие которых оно чувствует повсюду. Оно без всяких затруднений допускает, что одно и то же существо может одновременно пребывать в двух или нескольких местах. Оно подчинено закону партиципации (сопричастности), оно в этих случаях обнаруживает полное безразличие к противоречиям, которых не терпит наш разум. Вот почему позволительно называть это мышление, при сравнении с нашим, пра-логическим» [Леви-Брюль 1994: 8]. Однако упомянутые «сопричастность» и «полное безразличие к противоречиям» являются доказательством СВ, о чем свидетельствуют и примеры, приводимые Л. Леви-Брюлем: «В Ландане засуха была однажды приписана специально тому обстоятельству, что миссионеры во время богослужения надевали особый головной убор. Туземцы говорили, что это мешает падению дождя: они принялись громко кричать и требовать, чтобы миссионеры оставили страну». Представляет исследователь и такие факты: туземцы сочли, что причиной засухи являются сутаны священников; портрет королевы Виктории был обвинен в эпидемии плеврита; увидев падающую с дерева змею, а на следующий день узнав о смерти сына, жившего очень далеко от этого места, человек тут же увязал одно событие с другим: воспринял падающую змею как знак смерти сына; увидев изображение птицы в виде тени на стене, показанное ученым, и очень удачно сходяв на охоту на следующий день, туземцы затем всякий раз просили ученого показывать эту птицу накануне охоты; туземец, неудачно сходявший на охоту или рыбалку, возвращаясь домой и ломая голову

над тем, кто околдовал его лук и сети, видит случайно проходящего мимо него соплеменника и тут же решает, что колдовство применил именно этот соплеменник; «кафры пондо верят, что если у кого-то скот мрет от эпизоотии, то это происходит потому, что какая-нибудь враждебно настроенная личность обложила крааль колдовскими средствами, дабы погубить скот. Если у кого-то плохой урожай, то это произошло потому, что кто-нибудь из соседей ему завидует и портит поле неким могущественным снадобьем. Если в хижину туземца ударила молния, то это означает, что какой-нибудь враг хочет от него избавиться» [Там же: 58–59, 488].

Врагом первобытного человека, применившим колдовство, как мы видели, может оказаться первый встречный. Представления об одном и том же явлении у разных народов могут быть абсолютно, непредсказуемо разными. Это свидетельства незафиксированности, «блуждания взора», наблюдаемого и у детей (см. предыдущую главу). Древнейший обычай принесения в жертву духам случайного человека — члена социума (если под рукой не оказывалось пленника) только ради того, чтобы духи были добры ко всем членам этого первобытного социума, в диахронии постепенно исчезает, но иногда просто «смягчается»: например, «жертва привязывается к жертвенному столбу вместе с буйволом. Все танцуют вокруг под барабанный бой, плюют на жертву, перенося тем самым на нее свои изъяны. После этого жертву освобождают и она спасается, но живет потом не более месяца, поскольку все убегают от нее и не дают еду. Смерть этого человека считается знаком принятия жертвы» [Ревуненкова 1992: 21] (ПВ).

При таком понимании сверхъестественного-мистического становится ясно, что первобытное мышление представляет собой не качественно иной тип мышления, постулируемый Л. Леви-Брюлем, а как раз количественно другое (фиксируемое всеми его научными предшественниками и последователями) отличие от логического мышления современного человека, познавшего то, что человек первобытный объясняет мистически. (Для обозначения качественного отличия и термин «пра-логическое» не вполне удачен, ибо *пра-* указывает на отдаленность во времени, которая тоже может пониматься количественно: *пралогическое* понимается скорее как 'не вполне логическое, не достигшее уровня развития современной логики', нежели как 'не имеющее ничего общего с современной логикой'.)

Итак, взрослые первобытные люди при объяснении непонятных явлений демонстрируют ПВ, но никак не СВ. У исследователей мало данных о первобытных детях, которые, как и дети цивилизованные, вряд ли могут не проявлять вначале СВ, а затем ПВ, но не более высокие степени восприятия АИВ или АДВ, ибо их родители такой уровень вос-

приятия тоже не демонстрируют. Выдающегося «детского этнографа» М. Мид очень интересовал резонный вопрос: если мышление первобытных взрослых аналогично мышлению цивилизованных детей, то чем мышление первобытных детей отличается от мышления первобытных взрослых? Чтобы найти на него ответ, М. Мид собрала 35 000 рисунков, выполненных первобытными детьми, и «обнаружила вопреки всем ожиданиям, что «примитивные дети» не проявляют ни малейшего следа естественного анимизма наших детей, рисующих на луне человека, а дома с лицами» [Мид 1988: 35]. Рисунки этих детей ничем не отличались от рисунков первобытных взрослых: они были ясно-реалистичными, или натуралистичными. Через 25 лет М. Мид попросила тех же (теперь уже бывших) детей порисовать и убедилась в том, что рисунки их были такими же, как четверть века назад [Там же: 37]. Вряд ли полученные выводы можно считать удивительными, если помнить о том, что мировоззрение первобытных детей формируется в среде взрослых, не демонстрирующих прогресса восприятия окружающей действительности (особенностям воспитания детей в первобытном обществе посвящены все научные сочинения М. Мид). Что же касается неизменной реалистичности описываемых автором рисунков, то она вполне объяснима общепризнанной идеей эволюции человеческого искусства от натурализма к условности (см., например, [Мириманов 1997]). Очевидно, что испытуемые М. Мид находились именно на ранней, натуралистической, стадии развития изобразительного искусства, на которой нерасчлененность образов, формируемых «правым мозгом», еще не позволяет изменять структурные части этих образов, то есть фантазировать. О связи творческого процесса с функциональной асимметрией полушарий мозга — см. книгу известного нейропсихолога и нейролингвиста Н.Н. Николаенко [Николаенко 2005].

Подтверждением сходства детского и первобытного восприятия, а именно ПВ, является восприятие числа, которое, как было сказано в предыдущей главе, является наиболее абстрактным из всех человеческих понятий. Счет у примитивных народов, как и у детей, всегда опосредован конкретными предметами [Леонтьев А.А. 1984: 17–19]. «Любой человек знал, что на небе Луна одна, у человека два глаза и на руке пять пальцев» [История математики: 9]. Но это не означает, что для числа 5 сразу находилась отдельная, самобытная номинация — первобытный человек обходился двумя-тремя. Голландский математик и историк науки Д.Я. Стройк дает следующие примеры счета некоторых австралийских племен (зафиксированные более века назад): «Племя реки Муррей: 1 = энза, 2 = петчевал, 3 = петчевал-энза, 4 = петчевал–петчевал. Камиларои: 1 = мал, 2 = булан, 3 = гулиба, 4 = булан-булан, 5 = булан-гулиба,

6 = гулиба-гулиба» [Стройк 1990: 23]. То есть племя реки Муррей обходилось двумя числительными (1 и 2) и дальше четырех считать не умело, в то время как племя камиларои прогрессировало в счете до шести, обходясь уже тремя числительными: 1, 2 и 3. Двоичная система счисления существует в языке одного из племен островов Торрессова пролива: «1 — урапун, 2 — окоза, 3 — окоза-урапун, 4 — окоза-окоза, 5 — окоза-окоза-урапун, 6 — окоза-окоза-окоза и т. д.». Восточноафриканские носители суахили, не выработав свои или утратив их, заимствовали из арабского языка названия для чисел 6, 7 и 9. «В некоторых языках числительные сохраняют следы пятеричной системы, в этих языках пальцы второй руки называются так же, как пальцы первой с прибавлением слова, обозначающего 5 пальцев или руку» (это наблюдается в древних — шумерском и ацтекском — языках) [История математики... 1970: 11–12]. То есть системы счисления, применяемые в настоящее время первобытными народами, не намного прогрессивнее детского счета при помощи пальцев или счетных палочек: «Счет путем специальных слов-числительных — это не то, что счет по пальцам. У целого ряда народов мира есть очень развитая система конкретного счета, но в то же время у них мало числительных, т. е. мало отвлеченных названий чисел. Развитие системы абстрактных чисел свидетельствует о степени развития абстракции в мышлении людей» [Иванов 1983: 327]. Тем не менее счет у первобытных людей не исключал и пальцы как счетные палочки: «Счет на пальцах у всех первобытных народов предшествует числительным устного языка, что отражается и в происхождении самих числительных. Во многих языках, например в африканских (зулусский и другие языки банту), числительные обозначают только действия над пальцами рук. Языки могут различаться лишь конкретными операциями счета: «семь» может означать или «согни два пальца» (на второй руке): $7 = 5 + 2$, или «согни в обратную сторону 3 пальца»: $7 = 10 - 3$ » [Иванов Вяч.Вс. 1978: 65].

Очень характерна для первобытного счета его привязанность к самой возможности существования того или иного количества определенных предметов (ПВ). Так, туземец, обучаемый европейскому языку, отказался переводить фразу *Белый человек убил шесть медведей* на том основании, что, по его убеждению, белый человек не может убить шесть медведей [Выготский, Лурия 1993: 98] (как известно, подобные отказы демонстрируют афатики, например когда их просят сказать, что на улице плохая погода, если на самом деле она хорошая). Туземец, считавший воображаемых свиней, дошел до 60-ти и остановился, заявив, что дальше считать нельзя, поскольку больше 60 свиней в их деревне ни у кого нет [Там же]. «Прогресс языка в истории человечества будет нам особенно

наглядно, если сравним язык каких-нибудь дикарей, иногда не имеющих даже особых названий для чисел дальше четырех или пяти, с литературным языком народов, достигших высокой степени развития», — категорично считал в свое время В.А. Богородицкий [Богородицкий 1964: 297].

Следующим этапом обозначения чисел было их иероглифическое изображение: «Подобно тому, как счет на пальцах долго сохраняется в качестве пережитка «ручных понятий», сочетающегося со звуковым языком, обозначение чисел письменными знаками-иероглифами (наряду с фонетической их записью числительными естественного языка) остается как пережиток в современных письменных европейских языках, — пишет Вяч.Вс. Иванов. — Когда мы записываем «три» как 3 или III, проявляется особый характер обозначений чисел, тяготеющих к иероглифам (и тем самым к сфере влияния правого полушария; к ней, вероятно, относились когда-то и жесты, из которых позднее развился пальцевый счет, перешедший в число операций, находящихся в ведении левого полушария)» [Иванов Вяч.Вс. 1978: 67]. Даже на заре математики как науки ее разработчики — пифагорейцы мистифицировали открытые ими числа, связывая каждое число с определенным явлением (ПВ): например, единица — священная монада, мать всех богов, священное начало; десятка — священная декада, образ вселенной, состоящей из десяти небесных сфер с десятью светилами [История философии 1957: 82–85; История математики... 1970: 66–72]. В Древней Индии «единица называлась Луной, Землей, Брахмой, два — близнецами, глазами, руками, пять — чувствами, стрелами бога любви Камадевы, шесть — запахами, семь — горами, восемь — богами и т. д.» [История математики... 1970: 10]. Современные нивхи делают нечто похожее: опредмечивают свои количественные числительные. В нивхском языке для одного и того же числа имеются разные обозначения, соответствующие определенной общности предметов: например, «5 лодок» — одно слово, «5 нарт» — другое слово, «5 неводов» — третье слово, «5 прутьев с нанизанной на них корюшкой» — четвертое слово и т. д. [Леонтьев А.А. 1963: 109]. В языке индейцев хопи, описанном Б.Л. Уорфом, тоже нет абстрактных числительных — есть опредмеченные числительные: «Множественное число и количественные числительные употребляются только для обозначения тех предметов, которые образуют или могут образовать реальную группу» [Уорф 1960¹: 142].

В предыдущей главе мы привели слова А.А. Потетни о синкретичном восприятии ребенком окружающей действительности, в том числе языковых явлений. Но знаменитый ученый — предвестник психолингвистики проводит в этом смысле аналогию с языками древних народов (или древних предков современных народов), в которых запечатлена та

же синкретичность восприятия: «Древние языки, по крайней мере индоевропейские, имеют только три основные гласные (а, и, у) и уже относительно поздно вырабатывают те неуловимые для непривычного слуха средние звуки, какие встречаем во многих новых языках. Это зависит не от невозможности принудить органы произнести эти звуки, а от того, что они не замечались, хотя и могли случайно встречаться в говоре» [Потебня 2007: 67]. В той же главе мы приводили мнения С.Л. Рубинштейна, А.Р. Лурии и Х. Би о синкретичной связанности еще не очень развитой речи ребенка с практической ситуацией, в которой он находится, но А.Р. Лурия видит прямую связь этой детской особенности с происхождением слова в глоттогенезе: «Есть все основания думать, что слово как знак, обозначающий предмет, возникло из труда, из предметного действия... Можно думать, что слово, которое родилось из труда и трудового общения на первых этапах истории, было вплетено в практику; изолированно от практики оно еще не имело твердого самостоятельного существования. Иначе говоря, на начальных этапах развития языка слово носило симпрактический характер. ...значение ... слова менялось в зависимости от ситуации и становилось понятным только из жеста (в частности, указательного жеста, направленного на предмет), из интонации и всей ситуации. Вот почему первичное слово, по-видимому, имело лишь неустойчивое диффузное значение, которое приобретало свою определенность лишь из симпрактического контекста. ...речь некоторых народов, стоящих на низком уровне культурного развития, трудно понять без знания ситуации, в которой эта речь произносится. ...Только на следующем этапе слово начинает отрываться от действия и постепенно приобретать самостоятельность. Этот процесс мы не можем проследить в истории общества и можем лишь догадываться о нем, у ребенка же он прослеживается со всей отчетливостью» [Лурия 1998: 33–34, 37].

Отмеченное в предыдущей главе «блуждание взора» ребенка в процессе восприятия им окружающей действительности вполне соответствует идее случайности лексической номинации по признаку, представляющему внутреннюю форму. На эту случайность два века назад обращал внимание И.С. Рижский: «Представим себе, что несколько человек смотрят в одно время на один огромный предмет. Поелику никто из них не в состоянии объять его всем своим взором, то один видит только одну, другой другую, и так далее, притом иной самую важную, иной, напротив, малозначащую его часть. Подобно сему первоначально действует на умы разных народов всякий предмет» [Рижский 1973: 37] (ПВ).

Неразвитое, как и у современных детей, абстрактное мышление древних людей не могло не отражаться и в грамматиках их языков. По мнению А.А. Леонтьева, «первое предложение (словопредложение) было,

по-видимому, сочетанием неоформленных основ (или корней). ...первое слово (слово-звук), имевшее, как мы знаем, нерасчлененное значение и приложимое как к действию, так и к предмету, тоже было «чистой основой», т. е. было морфологически нерасчлененным» [Леонтьев А.А. 1963: 106] (ср. абсолютную идентичность таких «словопредложений» и описанных в предыдущем параграфе детских холофраз, демонстрирующих СВ). По наблюдениям А. Мейе, в индоевропейском языке «грамматические категории не имеют каждая своего особого выражения» [Мейе 2002: 207]. Очевидно, что такое заключение выглядит некоторым преувеличением. Корректнее было бы признать, что в индоевропейском не имели выражения какие-то современные грамматические категории, но определенные значения уже имели свои формы. Так, известно, что показатели номинатива на *-os* и аккузатива на *-ot* были первоначальными маркерами соответственно активного и инактивного классов именных индоевропейских образований. Но, что характерно, активный класс таких имен синкретично включал не только традиционно признаваемые одушевленными имена, но и традиционно неодушевленные названия представителей растительного мира, а также названия объектов, «которые мыслятся носителями языка как выразители активного начала, наделенные способностью к активной деятельности. К таким именам ... принадлежат названия подвижных или наделенных способностью к активной деятельности частей человеческого тела: *рука, нога, глаз, зуб* и другие, а также названия персонифицированных, активно мыслимых явлений природы и абстрактных понятий: *ветер, гроза, молния, осень, вода, река; рок, судьба, доля, благо* и др.» [Гамкрелидзе, Иванов Вяч.Вс. 1984: 271–274]. Трудно не усомниться лишь в абстрактности четырех последних понятий за несколько тысяч лет до н. э., ведь известно, что у древних египтян за одну — три тысячи лет до н. э. и у «наиболее древних» греков за несколько сотен лет до н. э. (см. выше) абстрактных понятий еще не было; как известно, рок, судьба, доля и благо были для индоевропейцев вполне олицетворенными если не живыми существами, как при первобытном анимизме, то, по крайней мере, силами окружающей действительности, совершенно человеку неподвластными, но жизнью его управляющими, — ср. с современными русскоязычными примерами типа *Судьба меня настигнет; Удача повернулась ко мне лицом* (или *спиной*, или *отвернулась от меня*); *Меня преследует злой рок* и т. п. О древнейших представлениях и постепенно абстрагирующемся развитии представлений о судьбе — см. [Потебня 1865; Горан 1990].

И.И. Срезневский в знаменитом докладе «Мысли об истории русского языка» раскрывает такую панораму развития языка, отражающую СВ: «Язык в первом собрании своем есть собрание звуков без всякого вну-

треннего строя. Немного звуков, немного и слов, образованных из них, гораздо менее чем представлений, которые бы могли быть ими выражены. Каждое слово стоит в языке отдельно; каждое слово есть само себе корень, несродный с другими. Слова коротки и не подлежат изменениям. Порядок их во фразах случаен. Темно, неопределенно, безотчетно выражает язык жизнь и мысль народа, столь же темную, неопределенную, безотчетную. Одно и то же слово есть вместе с тем и название предмета, и действия его, и качества, и впечатления, ими производимого в уме, точно так же, как и в уме народа все это остается неотделенным» [Срезневский 1959: 18]. Эти мысли вполне коррелируют с соображениями его современника Я. Гримма о древнем состоянии языка: «Все слова кратки, односложны, образованы почти исключительно с помощью кратких гласных и простых согласных; слова теснятся густой толпой, как стебли травы. Все понятия возникают из чувственно ясного созерцания, которое уже само было мыслью и от которого во все стороны распространялись элементарные новые мысли. ... С каждым своим шагом общительный язык развертывает свое богатство и способности, но в целом он производит впечатление лишнего меры и стройности» [Гримм 1964: 65–66].

В предыдущей главе мы привели свидетельства Ж. Пиаже и Л.С. Выготского об отсутствии у дошкольников понимания значений подчинительных союзов, но ту же особенность Л.П. Якубинский фиксирует в древнерусском языке, в котором сложноподчиненное предложение «еще не обладает развитой и дифференцированной системой подчинительных союзов... Это выражается, в частности, в многозначности подчинительных союзов в древнерусском». Например, «древнерусское *яко* соответствует современным *что, так что, потому что, как, чтобы, когда*. ...Эта многозначность характерна для любого раннего литературного языка» [Якубинский 1953: 266–267] (это своего рода синтаксические холофразы, довольствующиеся СВ). Как видим, синкретичность древней грамматики полностью соответствует синкретичности мышления ее носителей и идентична синкретичности детской. Об этом соответствии прямо говорит С.Д. Кацнельсон: «Древнейшая стадия в развитии речевого мышления определяется появлением первых синкретичных слов-предложений, во многом аналогичных холофрастическим образованиям зарождающейся детской речи» [Кацнельсон 2001: 527].

Современные первобытные языки тоже характеризуются погруженностью в конкретную ситуацию, в которой пребывает описываемый предмет, при ПВ. Лишь постепенно в первобытных языках вырабатываются отвлеченные представления о конкретно воспринимаемых предметах. Так, по свидетельству Ф. Боаса, в эскимосском языке есть лишь кон-

кретные, однословные — синкретично спаянные с глаголами — названия снега как снега, лежащего на земле, снега падающего, снега, уносимого ветром, и снега в виде сугробов (ПВ), однако наряду с названиями тюленя как тюленя, греющегося на солнце, тюленя, плывущего на льдине, и многими другими названиями тюленей в соответствии с их возрастными и половыми признаками, уже существует и обобщенное название тюленя [Боас 1965: 171–172]. Н.Н. Миклухо-Маклай сетовал на трудности постижения языка папуасов: «Один и тот же предмет назывался различными лицами различно, и я часто по неделям не знал, какое выражение правильно. Сообщу здесь пример того, что со мною частенько случалось. Я взял однажды лист в надежде узнать название листа вообще. Туземец сказал мне слово, которое я записал; другой папуас, которому я предложил тот же вопрос и показал тот же лист, сказал другое название; третий, в свою очередь, — третье, четвертый и пятый называли предмет опять другими и различными словами. Все названия записывались, но какое было настоящее название листа? Постепенно я узнал, что сказанное сперва слово было названием растения, которому принадлежал лист; второе название означало «зеленый», третье «грязь», «негодное», потому ли, что я, быть может, поднял лист с земли, или потому, что лист был взят с растения, которое папуасы ни на что не употребляют. Так случилось со многими, очень многими словами» [Миклухо-Маклай 1940: 241–242]. Этот рассказ свидетельствует о том, что каждый из папуасов воспринимал в листе один из множества признаков той нерасчлененной ситуации, частью которой был этот лист, при невозможности воспринять этот лист абстрактно, в отрыве от данной ситуации. Из рассказа так и не понятно, имелось ли в языке папуасов отдельное слово, обозначающее лист, но для характеристики описанной ситуации как синкретично или поверхностно воспринимаемой (на переходе от СВ к ПВ) сказанного достаточно при любом ответе на этот вопрос.

Известно, что в языках наблюдается 3 типа ориентации в пространстве: ориентации эгоцентричная, географическая и ландшафтная. «Эгоцентричность означает, что все предметы ориентируются относительно говорящего. Так, мы, например, говорим «справа от меня», «впереди меня». <...> Кроме русского языка к «эгоцентричным» относятся английский, немецкий, французский, да и все широко распространённые языки. <...> При географической ориентации говорящий располагает все предметы по сторонам света: север, юг, восток и запад, а при ландшафтной ориентирами выступают наиболее заметные элементы ландшафта: гора, море или же вершина/подножие холма. Интересно, что даже для маленьких объектов и малых расстояний всё равно используются такие

крупные ориентиры (например, *к югу от пальца* или *к морю от носа*)». Географическая ориентация наблюдается, к примеру, в гуугу ймитхирр, языке австралийских аборигенов, а ландшафтная — в цельтальском языке современных индейцев майя (штат Чьяпас, Мексика) [Бурас, Кронгауз 2011]. В свете уже сказанного в настоящей монографии становится очевидным, что слова *справа*, *слева*, *впереди*, *слева наискосок* и им подобные, имеющиеся во «всех широко распространенных языках» (то есть языках не первобытных), являются абстрактными пространственными обозначениями. Под каждое из них подводится любой конкретный предмет, в том числе *юг* и *гора* (слова, свидетельствующие соответственно о географической и ландшафтной ориентации): *юг справа от меня*, *гора сзади*. Из этого следует, что эгоцентричная ориентация является показателем развитости абстрактного мышления, а географическая и ландшафтная ориентации — мышления, опирающегося на конкретные данные ПВ (хотя, конечно, с разными степенями абстрактности — об этом немного ниже). С одной стороны, «приверженность» языка к тому или иному из двух последних типов ориентации, очевидно, может быть объяснена возможностями восприятия. На севере австралийского штата Квинсленд, то есть на полуострове Кейп-Йорк, где проживают упомянутые аборигены, ориентирующиеся не по ландшафту, а по сторонам света, в основном отсутствуют горы (в западной части полуострова их нет вовсе), в то время как море окружает их полуостров с трех сторон, в силу чего не может служить однозначным ориентиром. В мексиканском же штате Чьяпас горы разделены влажными долинами, в которых и проживают майя, говорящие на цельтальском с присущей ему ландшафтной ориентацией. С другой стороны, несложно заметить, что названия сторон света «абстрактнее» названий фрагментов ландшафта: конкретная *гора*, которую несложно видеть, может находиться на достаточно абстрактном *юге*, увидеть который как таковой невозможно. Поэтому вероятно и то, что изначально ландшафтная ориентация описываемых квинслендских аборигенов прогрессировала до ориентации географической. И тогда можно предположить, что у носителей цельтальского языка закономерно не сложилась потребность в абстрагировании от весьма заметных ориентиров гористо-равнинной местности штата Чьяпас.

Еще одной особенностью первобытного языка является синтагматическое многословие на уровне одного предложения: «там, где европеец тратит одно-два слова, примитивный человек тратит иногда десять. Так, например, фраза «Человек убил кролика» на языке индейцев племени понка буквально передается так: «Человек он один живой стоящий убил нарочно пустить стрелу кролика его одного живого сидящего». ... Для

того чтобы сообщить простую мысль, что человек убил кролика, индеец должен со всеми подробностями нарисовать в мельчайших деталях всю картину этого происшествия. Поэтому слова примитивного человека еще не дифференцированы от вещей, они еще тесно связаны с непосредственным чувственным впечатлением» [Выготский, Лурия 1993: 97–98] (каждое слово демонстрирует ПВ, а ситуация в целом — СВ). Кроме того, в первобытных языках наблюдается синкретичное неразличение частей речи с ярко выраженной неопределенностью (абстрактностью) глагольной семантики, конкретизируемой уточнителями. Так, Ф. Боас свидетельствует по поводу языка североамериканских индейцев цимшианов: «В языке цимшей мы обнаруживаем очень большое количество адвербиальных элементов, ... которые без всякого сомнения следует рассматривать в качестве элементов, модифицирующих глагольные понятия» [Боас 1965: 179] (спаянность с глаголами, но не наречий, а имен, ученый наблюдал и в эскимосском языке — см. выше). Б.Л. Уорф говорит о том же: «В языке хопи «молния», «волна», «пламя», «метеор», «клуб дыма», «пульсация» — глаголы. ... в языке нутка (о-в Ванкувер) все слова показались бы нам глаголами, ...; перед нами монистический взгляд на природу, который порождает только один класс слов для всех видов явлений» [Уорф 1960: 177]. Вяч.Вс. Иванов сообщает о «глагольности существительных» во всех американских индейских языках, приводя следующий пример: «Индеец, учивший меня ирокезскому языку онондага, отказывался перевести на него с английского языка слово tree 'дерево', говоря, что морф со сходным значением есть только в составе глагольной формы» [Иванов ВячВс 2004: 52]. Аналогичные данные приводит Э. Поули в отношении папуасского языка калам: в нем всего 95 глаголов, из которых активно употребляется только 25, вследствие чего недостаточное количество каламских глаголов при обозначении большого количества действий и состояний вынужденно компенсируется огромным количеством глагольных словосочетаний, то есть сочетаний глаголов с уточнителями отсутствующей у глаголов семантики [Rawley 1991]. Показанные Ф. Боасом, Н.Н. Миклухо-Маклаем, Л.С. Выготским и А.Р. Лурией, Б.Л. Уорфом, Вяч.Вс. Ивановым, Э. Поули явления являются ярким подтверждением действия механизма мышления, названного А.А. Леонтьевым синпрактическим, то есть мышления, тесно связанного с практикой (ПВ) и часто основывающегося на данных недифференцирующего восприятия (СВ).

Таким образом, первобытное восприятие демонстрирует те же синкретизм и (гораздо чаще) поверхностность, которые в течение первых лет жизни имеются у цивилизованных детей, но никогда не демонстри-

рует альтернативное восприятие (АИВ и АДВ), поскольку оно требует абстрактности мышления, которой первобытные (и древние) люди не обладают. Примечательно, что постоянно фиксируемое разными исследователями конкретное (синпрактическое) мышление, представленное у первобытного человека во всем многообразии, обусловленном разнообразием его практики, является следствием второй степени восприятия — ПВ, и в дальнейшем восприятие первобытного человека почти не прогрессирует, что и позволяет нам называть синкретизм и поверхностность первобытного восприятия предельными его степенями. Единственным, но очень серьезным препятствием для прогресса первобытного восприятия является социальная среда, состоящая из индивидов (мы имеем в виду старшее поколение), хранящих и передающих опыт поколению молодому, индивидов с одним, почти не преодолевающим поверхностность (ориентацию на ближайший признак) уровнем восприятия. Абсолютную аналогию восприятия можно наблюдать в строении первобытных (древних) языков. В целом подтверждается высказанная нами в части «Вместо введения» мысль, что прогресс языка может отставать от прогресса культуры его носителей, но наоборот — так, чтобы культурное развитие отставало от развития языка, — не случается никогда. Судя по всему, это не лишенный логики аргумент в пользу обусловленности языка мышлением, а не мышления языком, как это предлагается в гипотезе лингвистической относительности, или гипотезе Сэпира — Уорфа (к которой мы еще обратимся в следующей главе).

Очевидна корреляция синкретизма восприятия детского и первобытного (древнего), идентичного, а иногда и уступающего (при свойственном СВ гештальтном неразличении) интересующим нас примерам *мой отец с матерью* и *изучалась математика и химия*, согласование в которых происходит в соответствии с механизмом ПВ.

Важно признавать, что стадию первобытного мышления в свое время проходили все ныне цивилизованные этносы. Логично допустить, что не все из них избавились от первобытных особенностей сознания до конца, как не все языки избавились до конца от рудиментов первобытных своих состояний, которые можно видеть в ныне существующих языках первобытных народов.

Считаем закономерной постановку вопроса о рудиментах синкретичного и поверхностного восприятия, а следовательно логического мышления и грамматических установок, у относительно недавних предков современного цивилизованного взрослого и у него самого.

ГЛАВА 3

РУДИМЕНТЫ СИНКРЕТИЧНОГО И ПОВЕРХНОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ЦИВИЛИЗОВАННЫХ ОБЫДЕННЫХ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ

Если инфантильность начальных уровней восприятия у первобытных людей можно считать не только очевидной с первого взгляда, но и в определенной мере доказанной нами в предыдущей главе, то в отношении того, инфантильны или неинфантильны цивилизованные взрослые, ясности с первого взгляда не обнаруживается.

По этому поводу остроумно высказался выдающийся психолог-персонолог (специалист в области теорий личности), автор концепции эго-психологии Э. Эриксон: «Всякий взрослый, лидер или ведомый, член элиты или рядовой представитель массы, однажды был ребенком. Когда-то он был маленьким. Чувство собственной малости составляет неискоренимую основу его душевной жизни. ... Всякое общество состоит из людей в процессе их превращения из детей в родителей. Для того чтобы обеспечить непрерывность передачи традиций, общество должно уже достаточно рано готовить своих детей к отцовству и материнству, и оно также должно позаботиться о неизбежных следах инфантильности у своих взрослых членов. ... Мы уже цитировали слова Вильяма Блейка о плодах двух разных времен года, игрушках ребенка и мыслях старика. Мы предположили, что он таким образом намеревался представить всю важность и значимость игры. Но, может быть, он также имел в виду указать и на латентную инфантильность зрелого мышления» [Эриксон 1993: 50, 53]. Здесь, очевидно, уместнее всего вспомнить современных цивилизованных взрослых, которые, демонстрируя ПВ в не меньшей степени, нежели младшие дошкольники и первобытные люди, полагают, что маленький ребенок необыкновенно внимателен, поскольку от него не ускользают детали, не замеченные взрослыми. На этот счет показательно замечание А. Валлона: «...нам часто кажется, что внимание ребенка устремлено на детали предметов. Иногда он замечает даже такие тонкие и неожиданные детали, которые ускользают от взрослых. Однако ребенок воспринимает эти детали как самостоятельный объект, а не как части целого» [Валлон 1967: 159, 161], то есть как объект, зафиксированный им случайно в качестве ближайшего его «блуждающим взором» (см. главу 1). В предлагаемом в настоящей главе обзоре мы ставим задачу выяснить, действительно ли «латентная инфантильность зрелого мышления» — явление распространенное.

Даже беглый взгляд в прошлое позволяет заметить, что еще совсем недавно наши взрослые (и весьма для своего времени образованные) предки в основной своей массе были первобытно-суеверными, то есть не воспринимали истинных причин происходящих вокруг них явлений, объясняя эти явления действием мистических сил (ПВ). Например, в сборнике В.Б. Антоновича «Колдовство: документы — процессы — исследование» 1877 года описываются такие относящиеся к началу XVIII века (Века Просвещения!) судебные разбирательства и их юридические атрибуты (названия взяты из содержания сборника; приводим их, как и при цитировании названия сборника, с использованием современной кириллицы, но с принятой в то время орфографией): «1701, Февраля 12. Решение Каменец-Подольского магистрата, по которому он признает бездоказательную жалобу мещанина Судца на гречанку Антонову о том, что она посыпала порог в доме истца каким-то порошком»; «1704, Июля 7. Показания свидетелей по делу об обвинении цехмистра Яна Затвердзевича в употреблении чародейственных средств для усиления своих заработков»; «1704, Июля 14. Показания подмастерья Василия Фиялковского об употреблении тремя мастерами ткацкого цеха в Каменце чародейственных средств для снискания работы»; «1715 г. сентября 28. Показания, отобранные в Каменецком магистрате от мещанки Регины Рожицкой по делу о попытке Мещанки Васинской околдовать мещанина Андрея Гродзицакого». К середине XVIII века мировоззрение этих граждан (в том числе дворянского сословия и судей) нисколько не прогрессирует: «1742, мая 28. Показания дворянки Варвары Костецкой о том, какие меры она предпринимала по поручению дворянки Виктории Рабчинской для наведения злых духов на мужа последней — Роха Рабчинского»; «1747, июля 16. Жалоба и показания свидетелей перед магистратом города Ольки по делу об обвинении мещанки Омельчихи мещанином Опанасом Моисеевичем в том, что она причинила болезнь его жене и ребенку, вылив какую-то жидкость»; «1749. Допросы, снятые с двух крестьян из села Пудловец, обвиненных в том, что они тайно открыли клад на помещицкой земле и при отыскании его прибегали к чародейству ворожки» [Антонович 1887]. Работы Н.Ф. Сумцова конца XIX века с характерными, говорящими, названиями «Колдуны, ведьмы и упыри: библиографический указатель», «Заговоры: библиографический указатель», «Личные обереги от сглаза», «Пожелания и проклятия (преимущественно малороссийские)» [Сумцов 1891; Сумцов 1892; Сумцов 1896; Сумцов 1896¹] красноречиво свидетельствуют о том, что в то время мистическое восприятие непонятного было явлением достаточно массовым. Причем таким оно было не только в России, но и в образцово «просвещенной» Западной Европе —

см. работу Н.Ф. Сумцова «Очерк истории колдовства в Западной Европе» [Сумцов, 1878]. В 70-е и 80-е годы XX века те же представления наблюдались у нижнеамурских нанайцев и ульчей. Например, они верили, что если человек нечаянно наступил на край кострища, то именно дух огня Подя, наказывая человека за такую неосторожность, вызывает резкую боль в ноге и ее опухоль (ПВ), — следовательно, нужно сделать фигурку этого духа, окурить ее багульником, намазать ее рот кашей и в специальной заклинании попросить не сердиться [Смоляк 1991: 44–45].

Совершенно очевидно, что уводящая в мистику логика недавних наших предков ничем не отличается от логики как детей, так и описанных этнографами туземцев. Не отличается она от логики детской и первобытной и у многих наших современников. Достаточно оценить количество предлагаемых в СМИ «услуг» по колдовству, чародейству, магии (видимо, имеются существенные признаки, дифференцирующие эти понятия), ворожбе, защите от сглаза и порчи и т. п.

Отдельно следует подчеркнуть достаточно массовое увлечение лженауками. Еще в XVII веке логики Пор-Рояля А. Арно и П. Николь остроумно характеризовали «логичность» астрологии: «Есть на небе созвездие, которое кому-то заблагорассудилось назвать Весами; оно так же похоже на весы, как и на ветряную мельницу. Весы — символ справедливости и беспристрастия; стало быть, родившиеся под этим созвездием будут справедливыми и беспристрастными. Есть в Зодиаке три других знака: Овен, Козерог, Телец; с таким же успехом они могли бы называться Слон, Носорог, Крокодил. Овен, козерог и телец — жвачные животные; стало быть, у того, кто принимает лекарство в период, когда Луна расположена над этими созвездиями, есть основания опасаться, как бы его желудок не изверг принятое снадобье. При всей нелепости подобных рассуждений находятся и те, кто их преподносит, и те, кому они кажутся убедительными» [Арно и Николь 1991: 9]. Остается добавить, что указанные этими известными логиками рассуждения, во-первых, ничем не отличаются от первобытных и, во-вторых, вряд ли уменьшились в количестве к настоящему времени.

Например, в предыдущей главе говорилось о выявленном Э. Тэйлором древнем обычае не спасать утопающего из страха перед духами воды. Но ученый фиксирует это явление и у рыбаков Богемии в 1864 году [Тэйлор 1939: 63], то есть сравнительно недавно. (Возможно, медаль «За спасение утопающего» была учреждена прогрессивно мыслящими людьми с целью преодоления этого суеверия.) Э. Тэйлор практически каждому первобытному обычаю находит параллель в современном мире.

В начале предыдущей главы мы говорили о предполагаемом у неандертальца синпрактическом (неотделимом в процессе познания от

чувственного опыта) мышления. Синпрактическое мышление, как мы выяснили, вполне естественно для современных первобытных народов: «Представители некоторых народностей, стоящих на относительно низком уровне развития культуры, до сих пор стараются избегать чисто логического рассуждения; им представляется, что, если его нельзя подкрепить их личным опытом, оно недостаточно достоверно» [Леонтьев А.А. 1984: 52]. Однако и у некоторых современных цивилизованных народов (по крайней мере, живущих в окружении таких народов и контактирующих с ними) сохранились пережитки такого этапа в развитии мышления: люди избегают делать логические умозаключения о предметах и явлениях, с которыми они не знакомы, они даже часто не могут предположить самое простое событие, пока оно не произошло, то есть не способны мыслить абстрактно и логически. С подобными проявлениями столкнулся, например, А.Р. Лурия, когда в 1931–1932 годах был участником двух экспедиций в Среднюю Азию, где изучал особенности мышления жителей отдаленных кишлаков Узбекистана и горных районов Киргизии. Эти люди обнаружили синпрактическое мышление (обусловленное, конечно, ПВ) в полной мере. Например, этим жителям предлагалось назвать демонстрируемые им геометрические фигуры: «Все геометрические фигуры обозначались ими как названия предметов. Так, круг получал название *тарелка, сито, ведро, часы, месяц*; треугольник — *тумар* (узбекский амулет); квадрат — *зеркало, дверь, дом, доска, на которой сушат урюк*» [Лурия 1974: 47] (ПВ).

В главе 1 мы писали об обобщающем характере цветообозначений, однако А.Р. Лурия обнаружил, что в исследуемых им среднеазиатских языках «оттенки, имеющие практическое значение, обозначаются неизмеримо большим числом терминов, чем оттенки, не имеющие практического значения». При этом такое «неизмеримо большее число терминов» представляет собой наглядно-образные (типа *лимонный*), а не категориальные (типа *красный*) названия. Например, в речи людей, живших традиционной (не колхозной) жизнью, А.Р. Лурия обнаружил такие названия цветов: *ириса, граната, персика, фисташки, табака, печени, вина, кирпича, испорченного хлопка, леденца, розы, телячьего помета, помета свиньи, гороха, озера, неба, мака, темного сахара, испорченных зубов, цветущего хлопка, воды, когда ее много*, и др. [Там же: 38–39] (ПВ). Поскольку операции дифференциации предшествуют в ходе познания операциям интеграции (см. главу 1), логично рассчитывать на то, что интеграция может следовать за операцией дифференциации. Испытуемым предлагали осуществить интеграцию: найти нечто общее между курицей и собакой, рыбой и вороной, кровью и водой — и все они «соскальзы-

вали на описание различий» [Там же: 89–91], то есть от уровня дифференциации к уровню интеграции подняться не могли. Различать легче, чем объединять: различие (дифференциация) имеет дело с парами сравниваемых объектов, которые всегда находятся в зоне эмпирического восприятия или в несложном их представлении в небольшой по объему оперативной памяти; объединение же предполагает восприятие или оперативное представление и более чем двух объектов, а для этого требуется большая абстрактность мышления (позволяющая функционально нейтрализовать недостаточность объема оперативной памяти), нежели при различении. В предыдущей главе мы приводили пример Л. Леви-Брюля о туземце, который, размышляя о том, кто околдовал его лук и стрелы, готов был обвинить в этом первого встречного. Но Дж. Брунер доказывает то же в отношении современных цивилизованных людей: «При отсутствии опыта или даже вопреки опыту люди воспринимают случайные последовательности событий как связанные между собой сопряженными вероятностями» [Брунер 1977: 34].

Хорошо известно, какое важное значение для первобытного человека имеют ритуалы, являющиеся ярким свидетельством неспособности к абстрагированию (см. в предыдущей главе результаты наблюдений Дж. Дж. Фрэзера за поведением шаманов-даяков во время родов и другими имитирующими ритуалами). Н.Н. Миклухо-Маклай выявил такую «буквально-ритуальную» (хотя и постепенно исчезающую) особенность в поведении жителей острова Ява, уже давно имевших ко времени этого описания (второй половине XIX века) свою письменность, восходящую к древнеиндийскому брахми: «Во время первой беременности, для того чтобы роды обошлись бы благополучно и чтобы ребенок оказался бы здоровым и красивым, муж укутывается в мешок, спускается в колодец и, окунувшись в воду, разрезает в длину и разом ножом мешок и выходит из колодца» [Миклухо-Маклай 1990: 272] (ПВ). У славян не вполне исчезли обычаи, заслышав первый весенний гром, потереться спиной о ствол дерева (желательно дуба — см. о взаимосвязи дуба и грозы у древних греков, римлян, кельтов, германцев, славян и литовцев в [Фрэзер 2003: 173–176]) или покататься по земле — чтобы не болела спина, а также при первых признаках града перевернуть телегу или снять верхнюю одежду и вывернуть ее наизнанку — дабы град прекратился [Толстые 1982] (ПВ). «На северной Ровенщине в с. Сварицевици при первом ударе грома самый старший из мужчин в доме выходил во двор и перебрасывал через хату, в направлении с востока на запад, одно из освященных на пасху яиц» [Там же: 57] (ПВ). В главе 1 мы привели выводы исследователей о зачастую ненужной стереотипной повторяемости в поведении

шимпанзе, которые предпочитают из раза в раз повторять путь, однажды приведший к успеху, даже если к этому успеху есть путь более короткий. Но ни для кого не секрет, что аналогичным образом весьма часто поступают и современные цивилизованные люди в самых разных жизненных ситуациях: от впервые пройденного и затем упорно повторяемого самого длинного пути через малознакомый район (ср. с нежеланием португальцев искать западный путь к островам пряностей, поскольку туда уже был известен путь вдоль африканского и азиатского побережья) до искренней веры в то, что приманка, на которую однажды — случайно — поймал щуку, является самой уловистой, а пиджак, который был надет в день, когда неожиданно получил повышение, является «счастливым» (ПВ).

В проблемно-философском романе Питера Матиссена «Игра в полях господних» протестантские миссионеры из США, несущие Слово Божие амазонским индейцам ниаруна (во второй половине XX века), не сразу понимают, что некоторая успешность их миссионерской деятельности объясняется лишь тем, что имя Иисус оказалось паронимически похоже на имя главного индейского бога Кису (повелителя Зла и Грома) и в сознании индейцев отождествилось с ним. Подобным образом восточные славяне восприняли Илью-пророка как громовержца потому, что день Ильи-пророка (2 августа по новому стилю, 20 июля — по старому) совпал (многие исследователи полагают, что не случайно) с днем почитания предыдущего громовержца — Перуна, в свою очередь, возможно, восходящего к Роду, которого к моменту июльского созревания урожая тоже стоило просить повременить с грозowymi дождями (подобные просьбы были общеевропейским явлением). «Заслышав гром, считали, что Илья-пророк разъезжает по небу в огненной колеснице, запряженной четырьмя быстрыми как ветер конями» [Макашина 1982: 83–85] (с этим, как мы помним, не желал соглашаться тургеневский нигилист Базаров). Приверженцы такой этимологии грома встречаются и сейчас. С именем Ильи-пророка связывают также табу на купание в водоемах после 2 августа, и у этого запрета тоже достаточно современных исполнителей.

А.В. Смоляк подробно описывает особенности нижеамурского шаманизма (ПВ), успешно дожившего до наших дней [Смоляк 1991]. Однако в расположенной не очень далеко от Амура Монголии вера в мистическое не только является неискоренимой, но и в последние два десятка лет восстанавливает свои позиции и даже выходит на новые уровни признания. «Монгольские власти понимают ту важную роль, которую могут сыграть автохтонные верования и шаманизм в сохранении монгольской идентичности, культуры и традиций. И стараются оказывать им поддержку. В 1995 г. президент страны подписал указ «О поддержке пред-

ложения о возрождении традиции жертвоприношения духам гор Богдхан Хайрхан, Хан Хэнтий и Отгонтэнгэр». Сам президент, а также другие официальные лица неоднократно принимали участие в крупных церемониях жертвоприношения. ... После одного из таких мероприятий на горе Отгон-тенгри в 1997 году среди монголов распространились слухи, что из-за того, что президент Н. Багабанди неправильно провел церемонию жертвоприношения, началась бескормица (зуд)». Более того, среди современных граждан США и Европы имеются приверженцы набирающего обороты возрождения монгольского шаманизма: монгольские шаманы проводят свои семинары чаще в США, нежели в Западной Европе, и призывают к объединению шаманов всего мира. В Улан-Баторе регулярно проводятся международные конференции по шаманизму [Сабилов] (не хотелось бы, чтобы идея «сохранения идентичности, культуры и традиций» понравилась этносам, в прошлом культивировавшим каннибализм).

В современной просвещенной Европе сохраняется достаточное количество обрядов, корни которых уходят в язычество. «День 1 мая был, по-видимому, древним языческим праздником, именно поэтому в странах Европы широко бытовали поверья о том, что многие растения приобретают в этот день особые магические свойства. ... Во французской народной традиции до сих пор сохраняется представление о ландыше как о цветке, приносящем счастье. Насколько жива эта традиция, можно видеть в международный день 1 Мая, когда улицы Парижа кажутся заснеженными от обилия ландышей. ... В комплексе майских обрядов центральное место занимают обрядовые действия, игры, совершаемые вокруг майского дерева, майского столба, устанавливаемого в центре деревень» [Покровская 1983: 83] (ПВ).

Современным цивилизованным взрослым свойствен и простейший, не отягощенный мистикой СВ: герой фильма режиссера Алексея Балабанова «Брат-2» не видит никакой разницы между румыном и болгаринном. Местные храмы в Китае иногда посвящаются «сразу многим богам, причем божества в них обычно расположены группами. Наиболее популярны композиции из трех персонажей. Таковы, например, троица основоположников «трех религий» — Конфуций, Лао-цзы и Будда» [Малыгин 1991: 137]. Жители индустриально и социально развитой Японии наряду с буддизмом до сих пор исповедуют языческий синтоизм (лишь в 1947 году отделенный от государства). «Истоки синто восходят к глубокой древности и включают все присущие первобытным народам формы верований — тотемизм, анимизм, фетишизм, магию, культ предков и т. п.». Связанный с жизненными нуждами синтоизм и заботящийся о душе буддизм «взаимно дополнили друг друга, что объясняет характерное для

Японии сосуществование этих двух религиозных традиций в одном и том же индивиде, необычайную веротерпимость японцев, их склонность к синкретизму в области религии, к одновременному исповеданию двух и более вероучений и особенно к участию в обрядности различных религий» [Светлов 1991: 189, 195].

Невосприятие (СВ) опасности, именуемая в народе легкомыслием или недалельновидностью, традиционно высмеивается. Например, в русской народной сказке «Победа крестьянская над господином» главный герой, крестьянин-бедняк, убеждает одну богатую хозяйку в том, что ее свинья приходится ему родной теткой, которую он пришел пригласить «к родителям на пирушку». Хозяйка не только верит ему, но и дает лошадь с телегой, чтобы этот крестьянин и его «тетка» не шли на пирушку пешком. Вернувшийся господин понимает, что его легкомысленную супругу обманули, и бросается в погоню. Он обнаруживает прогуливающегося по лесу вора, но, не зная, что это вор (спрятавший в лесу лошадь, телегу и свинью), и приняв его за обычного и готового помочь человека, таким же непостижимым образом, как и его жена, верит обещанию этого крестьянина: «...разве дарите мне свой кафтан, лошадь и плеть, то, может быть, я, догнав мужика, возвращу свинью». Завладев всем, что попросил, крестьянин долго стегает плетью незадачливого господина, а затем возвращается домой «с двумя лошадьми и с свиньей, а господин с испещренной спиной» [Русские сказки... 1971: 221–223]. Однако если мы обратимся к истории человечества, то легко убедимся в том, что подобную, в большей или меньшей степени, в том или ином случае, недалельновидность демонстрируют почти все исторические, то есть, казалось бы, не глупые, деятели, и военные, и гражданские (примеры дальновидно не приводим, дабы не увязнуть в их огромном количестве). Невосприятие опасности, причем в простейшей бытовой ситуации, обнаруживают даже великие ученые, например Г. Лейбниц, споривший с И. Ньютоном по поводу того, кто из них двоих первым открыл новую область математики — дифференциальное исчисление, и недалельновидно обратившийся за истиной в Королевское общество, президентом которого был как раз И. Ньютон, который и назначил для разрешения этого спора «независимую» комиссию, состоящую из своих друзей [Хокинг 2001: 246]. Мы знаем об этом только благодаря известности этих личностей, то есть их заметности, весьма облегчающей наше восприятие, и мы мало что знаем о проявлении синкретизма и поверхностности восприятия у нескольких миллиардов рядовых землян-сапиенсов. Однако, судя по себе и доступным нам в общении людям, мы можем прийти к вряд ли поспешному обобщению, что у всех остальных восприятие имеет тот же недостаток.

Современный цивилизованный взрослый нередко обнаруживает недостатки восприятия и при определении вероятностей различных событий. Здесь встречаются суждения: «по представительности» (по внешнему сходству), «по встречаемости» (в личном опыте), «по точке отсчета» (ориентация на которую существенно влияет на выбор), «по сверхдоверию» (по ранее сформировавшемуся собственному мнению), «по стремлению к исключению риска» (к избеганию нового, ранее неизвестного) [Ларичев 1979: 114–116] — налицо действие перцептивного закона близости, подтверждающего присущую человеческому восприятию поверхностность (ПВ). Действительно, в самых разных аспектах современного нашего быта мы не обходимся без предрассудков и субъективизма. Так, в самом начале торговли продавцы просят стать первым покупателем мужчину, даже если он стоит последним в длинной очереди, состоящей из женщин (торговую удачу-де приносит первый покупатель — мужчина). По-прежнему соблюдаются обычаи впускать сначала кошку в новые дом или квартиру либо загадывать желание, пока падает звезда (в астрономическом смысле, конечно, это не звезда, а небольшой метеорит, сгорающий в верхних слоях атмосферы) или пока мы находимся между двумя людьми с одинаковыми именами. Подводя итоги выступления сборной Украины на Олимпийских играх в Лондоне (2012 г.), комментатор абсолютно серьезно говорит о том, что 14-е место, занятое Украиной на этих соревнованиях, несомненно, лучше 13-го (чертовой дюжины), и призывает зрителей с этим согласиться. В нашей жизни имеется целый сонм и других плохих примет — от черной кошки, перебежавшей дорогу, до празднования 40-летнего юбилея. Мы торопимся ритуально послать к черту в ответ на (уже давно сокращенное и десемантизированное) пожелание «Ни пуха!» и почти радостно воскликнуть «На счастье!», когда неуклюжий гость разбивает дорогую чашку. Мы без ропота соблюдаем любой ритуал, в котором выполнение определенных действий не вызвано никакой необходимостью, кроме слепого повиновения аргументу «Так надо, потому что так заведено». И, конечно, субъективность наших оценок, обусловленная поверхностным восприятием оцениваемого, ориентированным на ближайший в зоне восприятия признак, остается одним из главных человеческих недостатков. А.А. Леонтьев справедливо замечает: «Все мы нередко рассуждаем нелогично, делая скороспелые и неточные выводы из имеющихся у нас посылок. ...Но особенно распространенный недостаток логического рассуждения — недостаточное отвлечение от непосредственного, личного опыта, которое мы уже видели у ребенка-дошкольника» [Леонтьев А.А. 1984: 51–52].

Н.А. Подгорецкая целенаправленно изучала приемы логического мышления у взрослых исходя из следующего: «Умение логически мыс-

лить включает в себя ряд компонентов: умение ориентироваться на существенные признаки объектов и явлений, умение подчиняться законам логики, строить свои действия в соответствии с ними, умение производить логические операции, осознанно их аргументируя, умение строить гипотезы и выводить следствия из данных посылок и т. д.» [Подгорецкая 1980: 25]. Н.А. Подгорецкая провела эксперимент с разными группами взрослых — от учащихся старших классов до людей среднего возраста, — предложив им выполнить логические задания, аналогичные применяемым Ж. Пиаже и Б. Инельдер к детям дошкольного и младшего школьного возраста (эти ученые утверждали, что с 14-летнего возраста логическое мышление человека является полностью сформированным и готовым к решению любых логических задач). Результаты оказались неожиданными: «...проведенный эксперимент обнаружил, что при создании соответствующей структуры задачи у взрослых можно получить результаты, сходные с результатами необученных детей: ориентировка на случайные признаки, которые являются наиболее «яркими», нерасчлененность параметров изучаемых объектов, неумение отвечать на заданный вопрос, подмена объективной оценки субъективной, большая связанность спецификой предложенного экспериментального материала, отсутствие дифференцировки позиции разных людей, нечувствительность к противоречиям, довление житейского уровня объяснений над логическим и пр.» [Там же: 127–128]. К таким же выводам приходили и другие исследователи. Кроме того, ряд экспериментов продемонстрировал, что если младших школьников специально обучать приемам логического мышления, то такое обучение оказывается весьма результативным: в решении логических задач такие обученные школьники не только не уступают старшеклассникам, но и превосходят их (подробнее об этом см. [Там же: 130–136]). Результаты, полученные Н.А. Подгорецкой, практически ничем не отличаются от наблюдаемых столетиями раньше. К специальному обучению искусству мыслить более трехсот лет назад призывали и логики Пор-Рояля А. Арно и П. Николь, очевидно испытывавшие смешанное чувство отчаяния и досады при восприятии когнитивных способностей многих своих современников. Авторы с горечью говорят о мышлении этих взрослых людей то же, что представители возрастной и этнической психологии сообщают о мышлении детей и первобытных людей: «...правильность суждений — на удивление редкое свойство. Повсюду встречаются лишь неправильные умы, почти неспособные отличить истину от лжи. Они толкуют обо всем вкривь и вкось; они довольствуются самыми слабыми доводами и хотят, чтобы ими довольствовались и другие; их сбивает с толку малейшая видимость; ...у них нет твердой

уверенности в тех истинах, которые им известны, так как принять эти истины их заставляет случай, а не глубокие знания, или же, наоборот, они упрямо стоят на своем и не слушают ничего, что могло бы вывести их заблуждения» [Арно, Николь 1991: 8] (отметим корреляцию «малейшей видимости», в том числе по воле «случая», с ПВ). А. Арно и П. Николь даже себя обобщенно включают в число логически ущербных современников, проблемы которых объединяются одной — инфантильно-первобытной поверхностностью восприятия-познания: «...мы редко рассматриваем вещи во всех подробностях; мы судим о них по самому сильному своему впечатлению и воспринимаем только то, что нас больше поражает. <...> Весьма свойственная людям ошибка — поверхностно судить о поступках и намерениях других, и совершают ее только в силу неправильного умозаключения, когда, не имея ясного представления обо всех причинах, способных вызвать некоторое действие, это действие относят только к какой-то одной причине, хотя оно может быть вызвано и другими причинами. ... Людям требуется не более трех-четырех примеров, чтобы извлечь из них максимум или общее место. ... Часто осуждаемая ошибка ... — судить о принятых решениях по происшедшим вслед за тем событиям» [Там же: 281, 286, 287]. Как видим, главная проблема, под которую подводятся все перечисленные авторами случаи, — это поверхностность восприятия, как и «часто осуждаемая ошибка» — уже дважды названная выше логическая ошибка «смешение причинной связи с простой последовательностью во времени». К процитированному можно добавить меткое замечание Г. Спенсера по поводу устойчивости стереотипов в современном ему обществе: «Любопытно видеть, как люди вообще фактически придерживаются доктрин, от которых они уже отреклись в принципе, сохраняя таким образом сущность после того, как оставили форму» [Спенсер 2007: 141].

Перейдем к вопросам восприятия и логического мышления и в науке, выводы которой, как известно, должны полностью соответствовать законам формальной логики. Весьма наглядный и уместный в данном случае (хотя, признаем, и неожиданный) пример проблем с восприятием — определение логики в известном логическом словаре-справочнике Н.И. Кондакова: «*Логика — совокупность наук о законах и формах мышления, о математико-логических законах исчисления (формализованных символических языков), о наиболее общих (диалектических) законах мышления*» [Кондаков 1975: 285]. Данное определение состоит из трех частей. Первая и третья части понятийно пересекаются, поскольку обе толкуют понятие логики через «законы мышления». Вторая часть, математическая и потому лингвистов в основной их массе не интере-

сующая, содержит семантическую избыточность: толкует значение существительного *логика* в том числе с помощью производного от него прилагательного *логический*. Эти два замечания показывают важность постоянного контроля (и прежде всего — самоконтроля) за перцептивно обусловленным соответствием хода мысли, в особенности научной, законам формальной логики.

Известно, что успешность развития науки всегда относительна: когда-то Геродот был убежден в том, что на экваторе так жарко, что океан кипит, Демокрит провозглашал неделимость открытых им атомов, Аристотель был убежден в том, что Земля — центр мироздания, а Колумб до конца своих дней полагал, что открыл западный путь в Индию (исторические примеры можно перечислять долго). Однако и современная наука далеко не всегда избегает алогизмов, обусловленных поверхностным восприятием исследуемых объектов. А. Шафф справедливо замечает: «Часто бывает так, что философская проблема начинается там, где она окончилась для здравого рассудка. Именно там, где рассудок подходит к пределу проблемы, установив, что люди, разговаривая, передают друг другу разного рода информацию и в этом смысле общаются между собой, философ начинает ставить вопросы: «А как? А почему? А что это означает?» [Шафф 1963: 133]. Подобные вопросы, нередко выходящие за пределы лингвистической компетенции, как известно, всегда интересуют известнейшего лингвиста современности Н. Хомского. Так, по поводу состояния развития современной физики в известном «интервью о минимализме» (1999 год) ученый остроумно замечает: «Физики даже сегодня не могут в деталях объяснить, например, как вода течет из крана, или структуру гелия, или другие вещи, которые кажутся чересчур сложными. Физика находится в ситуации, в которой 90% материи во Вселенной — это то, что называется темной материей, — а темной она называется потому, что они не знают, что это такое, найти ее не могут, но она непременно должна где-то присутствовать, иначе физические законы не будут работать. То есть люди продолжают счастливо жить, допуская, что 90 % материи во Вселенной мы просто не замечаем. Теперь это считается нормальным, но во времена Галилея это считалось скандальным» [Хомский 2005: 146–147]. Трудно не признать, что это корректное и достаточно яркое подтверждение скромных показателей науки в познании, а следовательно и в восприятии, окружающей действительности.

Не ставя перед собой колоссальную по своей трудоемкости и историко-научную по аспектной принадлежности задачу описания всех перцептивных заблуждений в науке, приведших к неверным логическим выводам, остановимся на некоторых проблемах восприятия в лингвистике,

включающих (здесь и далее) проблемы как стихийно сложившегося восприятия языковых фактов, отраженного в самом устройстве языка, так и внешнего их восприятия носителями языка, в том числе, конечно, лингвистами как специалистами в данной сфере.

В истории решения одного из центральных вопросов науки — о конечном и бесконечном, понятиях, имеющих особое преломление в естественном языке, — в борьбе финитистских и инфинитистских философских концепций, отчетливо прослеживается мысль: бесконечность вширь признается легче, чем признаваемая только математикой бесконечность вглубь [Бурова 1987]. Историк науки А.В. Койре обращает внимание на то, что пространственная бесконечность Вселенной вширь, провозглашенная Джордано Бруно, была — на основании эмпирических данных — оспорена уже Кеплером (ср. с современным, опирающимся на данные новейших супертелескопов, понятием расширяющейся Вселенной, граница которой эмпирически очевидна как отражающая свет разлетающихся галактик и отодвигающаяся вместе с ними). Однако научные взгляды Кеплера тоже не избежали противоречия: «Вне всякого сомнения, Джордано Бруно не очень уж крупный философ и слабый ученый, а доводы, приводимые им в пользу бесконечности пространства и умозрительной первичности бесконечного, не очень убедительны (Бруно не Декарт). Тем не менее этот пример не единственный — их много не только в философии, но и в чистой науке: вспомним Кеплера, Дальтона или даже Максвелла в качестве примеров того, как ошибочное рассуждение, основанное на неточной посылке, привело к далеко идущим последствиям» [Койре 1985: 19] (нетрудно понять, что «рассуждение, основанное на неточной посылке», есть логика, опирающаяся на ПВ). Несложно эмпирически убедиться и в том, что на уровне отраженного в языке обыденного сознания, в наивной картине мира, бесконечность вглубь отрицается именно потому, что в сторону уменьшения чего угодно точка нуля всегда на виду, всегда относительно близка, всегда воспринимаема. Фиксируется же бесконечность в обыденном сознании лишь потому, что при поверхностном взгляде в сторону увеличения чего-либо (или его продолжения как увеличения во времени) точка конца не воспринимается (Гегель называл такую бесконечность «дурной» [Гегель 1970: 308]), и тогда *бесконечными* становятся и *дорога*, и *радость*, и *слезы*, и всё, что угодно, при невосприятии кем-либо предела здесь и сейчас, в то время как на самом деле — и в этом совсем не трудно эмпирически убедиться — этот предел существует [Попов 1995: 20–27]. Семантическое наполнение языковых номинаций бесконечного демонстрирует весьма поверхностное его восприятие человеком, поэтому даже зако-

номерным можно признать то, что такое восприятие обнаруживается и в сфере семантических толкований. Так, Ю.Д. Апресян говорит, что высоту предмета можно увеличивать бесконечно и предмет все равно останется высоким, в то время как уменьшать высоту предмета бесконечно — нельзя, так как предмет исчезнет или преобразится до неузнаваемости [Апресян 1974: 66]. На первый (поверхностный) взгляд, всё верно, особенно по поводу уменьшения высоты, но — вряд ли можно назвать, к примеру, фонарным столбом столб, фонарь которого — в силу «истинно бесконечного» увеличения высоты столба — вначале затеряется в облаках, а затем, очевидно, выйдет в открытый космос и устремится в неизведанное пространство. Вряд ли сможем мы назвать столом стол, столешница которого — по причине «истинно бесконечного» удлинения его ножек — перестанет зрительно нами восприниматься, из-за чего мы не сможем воспринять ножки такого «стола» как ножки (скорее, воспримем их как непонятно зачем уходящие в небо столбы). Следовательно, для нашего чувственного (пусть даже при помощи телескопа «Хаббл») восприятия ограниченной оказывается бесконечность не только вглубь, но и вширь (в научной картине мира оба вида бесконечности в истинном качестве возможны только в суперабстрактной науке математике). Невозможно рассматривать понятие бесконечности в человеческо-языковом восприятии без учета положений значимого для лексической семантики эмпиризма, так же как некорректно применять к этой ситуации принципы рационализма, абсолютно не существенные для отраженной в языке наивной картины мира, наивность которой обусловлена ПВ, не всегда поставляющим логическому мышлению истинно научные данные [Попов 1995: 109–111]. Л.Б. Лебедева по этому поводу высказывается еще категоричнее: «Воспринимать, осознавать и мысленно представить себе бесконечную, ничем не ограниченную величину мы вообще не можем. Само понятие бесконечности является лишь умозрительным конструктом, и в его основе лежит не положительный признак, а его отрицание, снятие заданного признака, признака конечности, то есть, в известном смысле, насилие над психологической реальностью» [Лебедева 2000: 93].

Показательны основанные на ПВ логические выводы психолингвистов, «обнаруживающих» признаки разумности у разных представителей животного мира. Психологи давно выяснили, что звуки, издаваемые животными, отражают их эмоции, которые могут быть коммуникативным сигналом-мотивом для других, но языком не являются [Леонтьев А.А. 1963: 12–16]. «Диалоги» животных — это «жестко регламентированные взаимодействия, у большинства видов чисто инстинктивные, пере-

бор возможных вариантов ответа на каждую «реплику» очень невелик. Да и набор «тем», на которые можно вести диалог, минимален» [Бурлак 2011: 76]. Когда животное издает звук, у него нет самой «мысли» что-то сообщить другим. Именно так мы вскрикиваем «ой!», уколов палец, совершенно не имея мысли предупредить всех об осторожности обращения с колющими предметами или призвать всех на помощь. Даже когда в животном мире внешне все выглядит так, что на зов самки прибегают самцы, это не язык, это звук потребности самки, который служит сигналом-стимулом для самцов, которым еще предстоит борьба за реализацию возможности удовлетворить свою потребность. К сожалению, внешняя сторона, лишь напоминая языковую коммуникацию, способна вводить в заблуждение ученых, которые, обманувшись, принимаются исследовать «язык животных». Как отмечает А.А. Леонтьев, дело доходит даже до того, что «сопоставляется обезьяний крик «ау» (связанный с инстинктом стадности) и дифтонги «ау» в английском и латышском языках» [Леонтьев А.А. 1963: 16]. Аналогичным образом — поддавшись обману внешнего проявления — некоторые ученые констатируют наличие интеллекта у дельфинов. Доказательство: дельфины-де подталкивают к берегу тонущих людей. Да, это очевидно постольку, поскольку об этом рассказывают спасшиеся таким образом люди. Но, как гласит мрачноватая шутка, ничего не говорят и никогда не скажут те утопающие, которых дельфины толкали в противоположную от берега сторону.

В поведении животных встречаются даже своего рода «ритуальные тексты». Например, в течение всей своей жизни серый гусь выполняет одни и те же действия с определенным смыслом: принимая определенные позы и совершая определенные движения, он атакует воображаемого противника и, как бы победив его, приветствует свою избранницу — с целью ей понравиться; объясняясь ей в любви, он издает специальный крик и опускает голову в воду; в семейной жизни с избранницей он использует определенные позы и крики для выражения любовного восторга, семейного восторга (при ухаживании за птенцами), запрета ухода к сопернику и угрозы сопернику (если таковой обнаружится), покорности, превосходства и многие другие, в том числе демонстрирует по сути «нулевые знаки», например нарочитое отсутствие крика при «случайной» интимной связи, то есть не с «женой» (которая у серого гуся, как правило, выбирается на всю жизнь), и бездействие при необходимости в защите этой «не-жены» [Лоренц 1984]. Но такой жестово-звуковой «текст» является инстинктивным, причем не только потому, что он врожден, но и потому, что серый гусь не может его изменить, например варьировать или достроить чем-то новым. Есть множество коммуника-

тивных систем — и у человека, и у животных, — но лишь коммуникативные системы человека называют языками в силу их изменчивости, в том числе достраиваемости. Ж.И. Резникова приходит к выводу, что «в последней четверти XX века произошла настоящая революция в научном направлении, связанном с изучением языкового поведения и интеллектуальных возможностей животных. Оказалось, что многие виды животных с высоким уровнем социальной организации обладают развитой коммуникативной системой, совпадающей по многим характеристикам с языками человека. Однако, несмотря на методологический прорыв в данной области, пока вопросов остается едва ли не больше, чем ответов» [Резникова 2008: 329] (обзоры литературы, посвященной коммуникации в мире животных, — см. в [Резникова 2008; Бурлак 2011: 206–254]). Трудно не согласиться с Е.А. Сергиенко: главное различие между коммуникативными системами животных и людей состоит в том, что первые оперируют ситуативными сигналами, в то время как вторые — абстрактными символами. Как бы ни были внешне похожи сигналы животных на человеческие символы, они никогда ими не становятся, поскольку их носители, животные, не способны планировать будущие действия в отвлечении от ситуации потребности. «Даже шимпанзе строит ночной лагерь только при наступлении ночи» [Сергиенко 2008: 339–341].

Ч.Ф. Хоккет отличительными признаками языка, позволяющими считать его высшей формой коммуникации, называет семантическую открытость, культурную преемственность, перемещаемость, дискретность, уклончивость, рефлексивность, двойное членение, иерархичность [Хоккет 1970]. Однако не все эти признаки в полной мере оказываются уникальными для такой коммуникативной системы, как язык: некоторые из них в определенной мере присутствуют в коммуникативных системах животных. Более того, «языковые проекты» (эксперименты по обучению животных, прежде всего приматов, незвуковой человеческой коммуникации) продемонстрировали гораздо большую способность восприятия и в какой-то мере усвоения испытуемыми человеческих (в первую очередь — жестовых) языков, чем было принято считать раньше. Однако в пользовании данными языками участники этих экспериментов не превосходят детей двух — двух с половиной лет [Бурлак 2011: 29–38]. Следовательно, убежденность некоторых ученых в наличии языков у животных оказывается преувеличением — «поспешным обобщением» (есть такой вид ошибки в группе аргументационно-логических ошибок), представляющим собой следствие ПВ исследуемого материала, что лишний раз подтверждает уместность иронии Э.Дж.В. Барбер и Э.М.В. Петерс, которые убедительно доказывают: особая сила человека состоит в уме-

нии перепрыгивать от считанных крупиц информации к глобальным по своей обобщенности выводам [Barber, Peters 1992] (ср. с приведенным выше, высказанным столетиями раньше мнением А. Арно и П. Николая о том, что «людям требуется не более трех-четырёх примеров, чтобы извлечь из них максимум или общее место»). За подобные «перепрыгивания-обобщения» С.А. Бурлак абсолютно справедливо критикует сравнительно недавно появившиеся теории глоттогенеза Ю.В. Монича, который на основании восприятия лишь факта существования у животных агрессивного и умиротворяющего поведения пришел к выводу, что язык возник «из ритуала клятвы верности своему племени», и В. Вильдгена, который считает, что язык создан «индивидуальной креативностью того, кто первым сказал предложение» [Бурлак 2011: 310–312]. М.К. Корбаллис в целом для всех бесспорно считает, что в основе происхождения звучащей речи были жесты, посредством мимики приведшие к возникновению осмысленных звуков и их сочетаний, но полагает, что речь таким образом возникла примерно 40 000 лет назад, поверхностно ориентируясь лишь на такой признак, как достижения верхнепалеолитической революции (наскальная живопись, украшения, новые технологии обработки камня, костяные иглы) [Corballis 2002]. С.А. Бурлак, опираясь на антропологические данные, обращает внимание на тот факт, что «первые представители нашего вида, неантропы, появившиеся более 100 тысяч лет назад, имели очень развитые приспособления для членораздельной звучащей речи — и только для нее» [Бурлак 2011: 313]. Аналогичные ошибки восприятия (ПВ) описаны Гао Мином в статье, посвященной насечкам на сосудах эпохи неолита, которые были найдены при раскопках в начале 80-х годов прошлого века в разных районах Китая и поверхностно восприняты многими учеными как самые первые, простейшие китайские иероглифы — древнейшие предшественники современных [Гао Мин 1989].

Н. Хомский, сосредоточившись лишь на одной из функции языка, категорично пишет: «Язык не считается системой коммуникации в собственном смысле слова. Это система для выражения мыслей, т. е. нечто совсем другое. Ее, конечно, можно использовать для коммуникации... Но коммуникация ни в каком подходящем смысле этого термина не является главной функцией языка [Хомский 2005: 114]. Убежденность ученого в том, что главной функцией языка является обеспечение мыслительной деятельности, принижает роль остальных языковых функций, в том числе коммуникативной, которая не только была главной функцией языка в момент его возникновения [Серебренников 1970: 9], но и продолжает оставаться важнейшим условием существования языка, ведь при отсутствии этого условия дети в отведенный им эволюцией чувстви-

тельный период (примерно с 2 до 6 лет) не усваивают язык посредством восприятия звучащей вокруг них речи взрослых [Бурлак 2011: 317–318]. Кроме того, возможно, некоторые, судя по всему очень немногие, носители языка, оформляя при помощи языкового кода свои мысли и пребывая в философическом силентиуме, «молчат, скрываются и таят» свои сообщения. Остальные же мыслители, как правило, стремятся поделиться своими мыслями с другими и при их выражении активно пользуются именно коммуникативной функцией языка.

Б.Л. Уорф считал, что отсутствие некоторых представлений в жизни некоторых индейских племен было следствием отсутствия в их языках соответствующих слов и грамматических значений [Уорф 1960¹]. Свой подход Б.Л. Уорф распространял на отношения языка и мышления в целом, полагая, что мышление обуславливается языком (а не наоборот): «Было установлено, что основа языковой системы любого языка (иными словами, грамматика) не есть просто инструмент для воспроизведения мыслей. Напротив, грамматика сама формирует мысль, является программой и руководством мыслительной деятельности индивидуума, средством анализа его впечатлений и их синтеза» [Уорф 1960: 174]. Данная мысль является программной в известной, но далеко не всеми лингвистами принимаемой, уже упомянутой нами выше гипотезе лингвистической относительности, или гипотезе Сэпира — Уорфа (подробнее о ее судьбах — см. [Бурас, Кронгауз 2011]). Например, А.А. Леонтьев назвал такое понимание постановкой проблемы «с ног на голову», поскольку, по его тоже вполне логичному заключению, на самом деле отсутствие слов и грамматических значений в этих языках было следствием отсутствия у индейцев соответствующих представлений [Леонтьев А.А., 1984: 53–56]. В поддержку позиции А.А. Леонтьева (и, конечно, многих других ученых) «работают» и данные М.А. Кронгауза о языковых затруднениях эскимосов и саами при восприятии ими невиданных ранее животных, приведенные в части «Вместо введения», и полученные в последние десятилетия данные о доязыковой когнитивной деятельности детей и антропоидов, представленные в главе 1, и многочисленные примеры соотношения языка и мышления у других первобытных народов, показанные в предыдущей главе. Но, как представляется, можно говорить о том, что противники и сторонники гипотезы Сэпира — Уорфа видят качественно разные вещи. Первые справедливо замечают бессилие человека, по крайней мере быстро, номинировать новые понятия: понятие есть, а соответствующего слова еще нет. Вторые обращают внимание на явления, происходящие в сознании людей под влиянием специфики их языка, то есть явления, наблюдаемые в качественно иной ситуации: номинации уже

существуют. Если не абсолютизировать мнение Б.Л. Уорфа о том, что язык всегда и везде формирует мышление, то, по-видимому, корректно говорить о том, что влияние языка на мышление есть явление вторичное по отношению к языковой номинации и в целом инертное: уже сформировавшиеся явления языковой структуры, проникая в функционирующее параллельно мышление, обуславливают соответствующие мыслительные явления, как это убедительно продемонстрировано в статье М.В. Рубец [Рубец 2009].

В предыдущих двух главах мы говорили о трудностях абстрактного понимания числа детьми и первобытными людьми. Но и современные математики не всегда понимают числа абстрактно: «XX век еще видел последнего крупного представителя древней индийской традиции такого отношения к числам, как к различным индивидуальностям. Исключительно одаренный математик Рамануджан, не получивший никакого систематического образования (и до своего приезда в Европу изучивший только одну книгу по математике), знал каждое число (включая и очень большие числа), о котором он думал, как своего знакомого. Ему были известны свойства чисел так, как люди знают особенности своих друзей. <...> Но ошибочным было бы предположение, что обратное понимание математики в целом (не только непрерывной) как сферы деятельности, сходной — в указанном смысле — с другими проявлениями «правого мозга», в новейшее время исчезает. Напротив, оно возрождается в весьма современном виде в математическом интуиционизме» [Иванов Вяч.Вс. 1978: 69, 72].

В главе 2 мы приводили полный недоумения рассказ Н.Н. Миклухо-Маклая, который, не зная о понятии синкретизма восприятия, тщетно пытался узнать у папуасов название древесного листа, которое папуасы не могли вычленивать из ситуаций, в которые мог быть включен этот лист. Однако некоторые исследователи и сегодня не могут объяснить — синкретичным восприятием (СВ) — часто наблюдаемую в современных африканских судах (созданных по европейскому образцу) неспособность африканцев описать ограниченное во времени событие дня без описания всех событий этого дня с самого его начала: «...например, когда свидетеля просят рассказать о происшествии, имевшем место в пять часов дня, он может начать свое сообщение с того, что расскажет все, что с ним произошло после того, как он утром встал» [Коул и Скрибнер 1977: 12]. Здесь уместно вспомнить и сообщение Л.С. Выготского об индейцах понка, которые не могли передать простую мысль, например о том, что человек убил кролика, не описав подробно все скрывающиеся за ней подробности (глава 2).

Не всегда выглядит корректным стихийное распространение обычно признаваемого прогрессивным принципа (закона) аналогии, то есть формального или содержательного уподобления частотному образцу на основании мышления по ассоциации. Особенно часто действие закона аналогии наблюдают в языке (например, звукоподражания являются одним из простейших случаев языковой аналогии). В целом аналогия является мощным, основанным на логическом законе тождества средством классификации и создания новых форм по образцу [Соссюр 1977: 195–208; Реформатский 2006: 489–490; Лайонз 1978: 48–50; Кубрякова 1987: 43–51; Валгина 2003: 13]. Однако Дж. Гринберг обращает внимание и на случайность выбора пути аналогией, которая «не всегда и отнюдь не обязательно ведет к изменениям, которые увеличивали бы степень морфологической регулярности языка» [Гринберг 2004: 121]. И при классифицировании лингвистами сформировавшихся в языке явлений следование аналогии часто оказывается неполным, чем подтверждает правоту древнегреческих аномалистов в их затяжном споре с их современниками — аналогистами, а также правоту младограмматиков (см. об этом [Лайонз 1978: 25–28; Кубрякова 1987: 47]). Аналогия может приводить к нивелированию тонких различий, которые, несмотря на свою малость, могут оказаться существенными. В детской речи подход к языковым явлениям «по аналогии» приводит к усвоению не закрепленных традицией форм (типа *пекешь, ехай, махаю*). В лингвистических исследованиях он приводит к игнорированию нечастотных, но семантически существенных проявлений, например к утверждению, что именительный предикативный вытесняется творительным предикативным или что генетив *чаю* вытесняется генетивом *чая*, без попыток осознать смысловые различия между этими формами, подтвержденные узусом (подробнее об этом — см. в следующей главе). Аналогия подобна гребенке, под которую на один манер причесывают всех имеющих волосы без учета их пожеланий, а потому нередко логична лишь поверхностно (ПВ). Следовательно, с точки зрения традиции, обусловленная автоматическим действием закона тождества аналогия может быть и полностью оправданной, и оправданной лишь в некоторой степени, но, с позиций логики, аналогия в целом безупречна. Полной ее безупречности препятствует затруднение при выборе основания ассоциации — признака, положенного в основу аналогии, например *пекешь* аналогично по корневой финали *печу*, но с таким же успехом *печу* и *печут* могут считаться аналогичными инфинитиву *печь* (если отвлечься от *пекти*) и остальным спрягаемым формам *печешь, печет, печем, печете*. В полном соответствии с данными двух предыдущих глав на ранней стадии развития языка такой выбор основания мог быть

не только коллективно-подсознательным (как это наблюдается в языках постоянно), но и случайным — с абсолютизацией ближайшего воспринятого признака (ПВ). Возможно, отчасти и таким образом — наряду с влиянием определенных, но пока мало изученных тенденций — происходило закрепление внутренней формы слов: как признака, положенного в основу номинации случайно. Впрочем, по причине указанной малоизученности древних тенденций в области номинации мы не можем считать нашу точку зрения единственным решением этого трудного вопроса.

В предыдущих главах мы говорили о тормозящей логической прогресс силе привычки, стереотипа, инерции. В истории русского языкознания известно затянувшееся до 1735 года (когда его описал В.К. Тредиаковский) недоразумение, связанное с невосприятием (точнее — СВ) того очевидного факта, что приписываемые авторами грамматик, в том числе М. Смотрицким, русским звукам древнегреческие (то есть уже не византийские и тем более не новогреческие) долгота и краткость абсолютно русским звукам не свойственны [Кузнецов 1958: 40–41]. Сдерживающей силой инерции объясняется и невысокая скорость грамматических изменений. Историки русского языка лучше других ученых знают, как долго сохранялись в официальном письменном употреблении исчезнувшие в устной речи формы склонения существительных, кратких прилагательных, двойственного числа и другие.

Свойственное процессу познания впадение лингвистики, как и других наук, в крайности, например уход ее в логицизм, затем в психологизм, после чего в структурализм — с полным или частичным небрежением к данным предшествующего направления, в первую очередь свидетельствует о ПВ исследуемого материала и лишь как следствие этого о нелогичности таких подходов. Например, критикуя Х. Штейнтала за исключительное внимание к этимологическому аспекту слова (внутренней форме), С.Д. Кацнельсон не упускает из виду то обстоятельство, что «такая переоценка роли этимологии и этимологического признака в слове является не только негативным последствием недостаточного развития логики и психологии мышления. Она является также отражением недостаточного проникновения в семантическую структуру слова» [Кацнельсон 2001: 44]. Отмеченное «недостаточное проникновение» (так можно охарактеризовать и тривиальность отождествления слова и понятия логицистами, и одностороннюю увлеченность грамматической формой структуралистами) есть проявление поверхностности восприятия семантической структуры слова. Кроме того, С.Д. Кацнельсон выявляет в положениях А.А. Потебни невоспринятое им противоречие между утверждениями «об абсолютной конкретности первоначального

образа предмета» и о наличии в этом образе «различия предметности и призначности» [Там же: 79].

В предыдущей главе приведен рассказ Вяч.Вс. Иванова о спаянности в современном ирокезском языке именных и глагольных значений в одной словоформе, который автор подытоживает следующим образом: «Одна из ветвей человечества — туземная американская, больше десяти тысяч лет назад отделившаяся от других, иначе стала смотреть на соотношение аргументов и предикатов» [Иванов Вяч.Вс. 2004: 52]. Во-первых, следует заметить, что существуют и другие предположения относительно даты территориального отдаления праамериндского языка от таких ностратических языков, как семитохамитский, картвельский, индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский, предположительно восходящих к одному праязыку [Иллич-Свитыч 1984]: согласно этим допущениям миграция протоиндейцев из Азии через Берингов пролив (возможно, по существующему в то время перешейку, соединяющему Чукотку и Аляску) происходила 40–30 тысяч лет назад [Хелимский 1990: 176]. Во-вторых, при любой из имеющихся датировок «исхода» протоиндейцев из Азии через Берингов пролив приведенные в двух предыдущих частях сведения позволяют предположить, что сценарий развития индейских языков мог быть другим: «туземная американская ветвь» в те времена, когда ни в одном из языков не существовало письменной формы и потому не сохранились доказательства языковых фактов того периода, не «иначе стала смотреть на соотношение аргументов и предикатов», а все еще именно так — «синкретично-холофразно», на уровне лингвокомпетентности «додвухлетнего» ребенка (см. главу 1), не дифференцируя ситуации на предикаты и актаны (СВ), — это соотношение воспринимала, и в условиях отсутствия контактов с представителями других языковых семей такое восприятие законсервировала, как это в той или иной мере и свойственно всем современным первобытным языкам. Утверждение Вяч.Вс. Иванова о неповторимости глагольной особенности индейских языков опровергается приведенными в том же месте предыдущей главы сведениями Э. Поули о папуасском языке калам, глагольные характеристики которого аналогичны индейским. Во всех папуасских языках имеется такая синкретичная закономерность: «Личная форма глагола в предложении обладает способностью присоединять субъектно-объектные показатели, а зачастую и инкорпорировать субъект или объект либо то и другое» [Верба 1990: 365].

Наблюдаются в лингвистике и досадные терминологические пересечения, являющиеся классическим образцом нарушения в первую очередь логического закона исключенного третьего. Однако причиной этого

нарушения является невосприятие одного важного признака (что означает восприятие другого, несущественного, то есть ПВ). Так, лингвисты, сравнительно поздно провозгласившие новую лексическую категорию — паронимию (выделенную только на основании частотности смешения слов, похожих по форме), не учли того факта, что такой огромный пласт паронимов, как слова, различающиеся лишь суффиксами, понятийно ничем не отличается от однокоренных синонимов, массово отраженных в соответствующих аспектных словарях. Например, *человеческий* и *человечий* Д.Э. Розенталем рассматриваются как паронимы со стилистическим различием [Розенталь 1977: 66], но эти же слова в [Словарь синонимов... 2003: 670–671] обоснованно даны как стилистические синонимы. Это можно было бы не считать серьезным логическим затруднением, если бы синонимия и паронимия не считались равноправными лексическими категориями наряду с антонимией, омонимией, гипонимией и лексической конверсией. Ведь никого не посещает мысль антонимы *высокий* и *низкий* считать заодно синонимами, паронимами, омонимами, согипонимами или лексическими конверсивами, равно как омонимы *ключ* (в замке) и *ключ* (синоним *родник*) принадлежащими также хотя бы к одной из названных лексических категорий помимо омонимии. Таким образом, к рассматриваемой терминологической проблеме привело невосприятие того факта, что паронимия как категория имеет основание «смешиваемость», принципиально отличное от основания «форма и содержание», имеющегося у остальных лексических категорий (подробнее об этой терминологической проблеме — см. [Попов 2010]).

О.Б. Сизова рассматривает частотные случаи таких грамматических сбоев, наблюдаемых в устной речи и детей, и взрослых, как употребление родительного падежа существительного вместо других необходимых, если такие существительные следуют за прилагательными, омонимичными в падежной парадигме, например *мама-курица заботится о своих птенцов*, *об остальных праздников писать ничего не надо*, *учение о разных типов оппозиций*, и приходит к выводу о важной роли прилагательных в процессе порождения высказывания, поскольку именно они задают форму постпозитивного существительного [Сизова 2010]. Почему в таких случаях указанный сбой происходит именно в пользу родительного падежа, автор не объясняет, хотя ответ на этот вопрос очевиден: общеизвестно, что частотность родительного падежа значительно превышает частотность других падежей и других значений этого падежа, — следовательно, рассматриваемый сбой происходит в пользу того, что представляется наиболее заметным. Тем же ПВ объясняются такие приводимые О.Б. Сизовой (а также нами в главе 1) при-

меры нарушений в детской речи, как уподобление адъективной флексии окончанию субстантива и наоборот: *пАльц'ку мАл'ин'ку* [Гвоздев 1961: 439]. О.Б. Сизова показывает, что подобные нарушения встречаются и в беглой устной речи взрослых: *выпустил уникальное собрание графических материалов об архитектурных памятниках* (Радио России, ведущая); *результаты ее исследования докладывались на десятках крупных международных форумах* (филолог, профессор; в устном диалоге); *и у нас, и у других таких авторских центрах* (Радио России, ведущая); *это может затронуть интересы третьих лиц, чьих-то друзей и подруг* (Наше радио, автор-исполнитель); *В таком сообществе талантливы люди, как Вы* (Радио Маяк, ведущий)[Сизова 2010: 260, 268]. В то же время увлеченность идеей первой роли адъектива в процессе именного согласования в падеже как ближайшей идеей в этой научной перцепции (ПВ) не позволяет автору обратить внимание на то, что адъектив задает не всякую грамматическую форму согласующегося с ним субстантива: при согласовании в числе роль адъектива не столь велика. Если адъектив не один и связан с другим(и) сочинительной связью, и при этом каждый адъектив характеризует свой субстантив, то есть субстантивов подразумевается два (и более), то каждый из адъективов сохраняет форму ед. ч., но субстантив в соответствии с логическими законами принимает форму мн. ч. (подробнее — см. в следующей главе). Поэтому вряд ли корректно согласование адъективов — однородных определений с субстантивом в форме ед. ч. в названии кандидатской диссертации О.Б. Сизовой, защищенной в 2009 году: *«Порождение именных форм в речи детей дошкольного возраста: взаимодействие синтагматического и парадигматического аспекта»*.

В главе 1 мы приводили данные М. Томаселло и Б.М. Величковского о таком явлении в речи 2-хлетних детей, как «глагольные острова»: когда усвоенный глагол воспринимается как рамка, универсальная, готовая к применению конструкция, в которую можно подставлять разные существительные, совершенно не заботясь о нюансах сочетаемости, присущих получаемым таким образом синтагмам. Однако аналогичным образом современные цивилизованные взрослые пользуются иностранным языком, которым плохо владеют, и такой же упрощенный подход наблюдается в пиджинах, в которых смешиваются лексические и грамматические факты разных языков. Можно утверждать, что при изучении иностранных языков мы уподобляемся 2-хлетним детям, усваивающим родной язык.

Наконец, пора коротко сказать и о поверхностном восприятии в сфере практической стилистики русского языка, предписания которой нас

очень интересуют (см. «От автора»). По этому поводу В.И. Чернышев более ста лет назад заметил: «Нередко педантическая [обратим внимание на отсутствие в то время специализированной качественной формы *педантичная*. — С.П.] стилистика имеет притязание предписывать правила языку вместо того, чтобы изучать его законы, или же делает односторонние и неосновательные выводы из ложно понятых случаев употребления слов и форм. Этим нередко грешили у нас иностранцы, пишущие русские грамматики, например Греч. В своих учебниках он требует употреблять сочетания *два черные ворона, три пуховые шляпы* и под. и считает неправильными *два черных ворона, три пуховых шляпы*» [Чернышев 1970¹: 447]. Современные авторы предписывают увязывать употребление того или иного из приведенных здесь вариантов прежде всего с родовой характеристикой (*два черных ворона, два новых окна* — для м. и ср. р., но *три пуховые шляпы* — для ж. р.), но в целом высказанный В.И. Чернышевым упрек по-прежнему актуален: упомянутое современное предписание, как и прежде, несмотря на последовавший в XX веке ряд попыток объяснить это падежное колебание, очень слабо аргументировано [Попов 2011: 119–120].

Понятно, что от ПВ лингвисты, как было показано выше, не застрахованы, ибо под воздействием разнообразных и нередко случайных факторов, отвлекающих внимание, пропустить важную деталь не так уж трудно. В качестве примера такого пропуска важной детали в ортологических рекомендациях приведем критику В.И. Чернышевым «старинных» (для его времени), в том числе школьных, предписаний, запрещавших употреблять местоимение после двух существительных (разумеется, в одинаковых грамматических формах) во избежание двусмысленности этого местоимения. Ученый считает такое требование бездумным перегибом и, предлагая «руководствоваться содержанием речи, а не отвлеченным правилом», приводит три примера, которые осуждаются критиками, но им считаются абсолютно допустимыми [Чернышев 1970¹: 636]. С допустимостью одного из них — «*При сих словах прервался Лафатеров голос; он утерся белым платком*» (Карамзин) — можно согласиться: **он** относится к Лафатеру, так как голос ничем утираться не может (кроме того, хотя существительное *Лафатер* в этом предложении отсутствует, оно присутствует в более широком контексте). Но с «нормальностью» двух других примеров согласиться невозможно, вот они: «*Если бы не эта тарелка, да не прислоненная к постели только что выкуренная трубка, или не сам хозяин, лежащий на ней, то можно было бы подумать, что тут никто не живет*» (Гончаров); «*Лошадь у жены что-то заупрямилась; она испугалась, отдала мне поводья и пошла пешком домой*» (Пушкин).

Аргументы В.И. Чернышева: «хозяин, конечно, не мог лежать на трубке» и «само собою понятно, что испугалась и отдала поводья жена, а не лошадь». По-своему эти аргументы логичны, ибо основываются на здравом смысле. Но В.И. Чернышев не учел одну важную особенность, которая является, например, одним из принципов современного литературного редактирования, основанным на данных психологии: недопустимо, чтобы во время чтения читатель останавливался и даже ненадолго задумывался, к примеру, над тем, не на трубке ли или не на тарелке ли почивал хозяин (вторую возможность прочтения тоже нельзя исключить, и, между прочим, она способна вызвать не предполагаемую автором улыбку) и не лошадь ли отдала поводья и пошла пешком (что тоже вполне комично, и А.С. Пушкин вряд ли к этому комизму стремился). Привлечение результатов психологических исследований позволило расширить видение авторского текста и требования к нему: взглянуть на него не только в смыслах эстетическом и информационном, но и с точки зрения удобства восприятия (что-либо «с человеческим лицом» — сравнительно новый аспект для нашего менталитета).

Описанные нами факты бытовой и научной, в основном лингвистической, алогичности являются следствием синкретизма или (гораздо чаще) поверхностности восприятия соответствующих фактов, от которого «современность наших современников» их не уберегла. Хотя в целом и принято считать, что человеческое мышление живет по законам логики стихийно и объективно, из-за некачественного восприятия оно не всегда оказывается логически безупречным и у биологически не достигшего совершенства современного цивилизованного ребенка, и у далеко не всё познавшего первобытного человека (и ребенка, и взрослого — разница в их перцепциях настолько мала, что ею можно пренебречь), и, пусть и в меньшей степени, у современного цивилизованного взрослого, в том числе ученого. В связи с этим вряд ли приходится удивляться долготельству демонстрирующих ПВ примеров *мой отец с матерью* и *изучаюсь математика и химия*.

Тем не менее логико-абстрактный прогресс человечества и языков, обусловленный качественным улучшением восприятия, стихийно берет свое, как берет свое перцептивно-когнитивный прогресс растущего цивилизованного ребенка. Например, Л.С. Выготский в свое время, говоря о параллелизме первобытного и все еще встречающегося современного восприятия числа как «числа определенного предмета», писал: «Остатки этого мы видим в сохранившихся еще у нас различных способах счета, применяемых к различным предметам. Карандаши, например, до сих пор считаются на дюжины и гроссы и т. д.» [Выготский, Лурия 1993:

114]. Однако носители русского языка, родившиеся по меньшей мере в 60-е годы прошлого века, уже не понимают, о каких дюжинах и тем более «гроссах» карандашей идет речь, ибо последние на их памяти никто в таких единицах не считал. Это пусть небольшая, но очередная победа абстрактности числа над предметами, к которым оно применяется.

В целом очевидно, что логичность обусловленных синкретичным и поверхностным восприятием не вполне логичного мышления и не вполне логически развитой грамматики возрастает в диахронии по двум направлениям: от современного цивилизованного ребенка к современному цивилизованному взрослому (возрастает заметно быстро) и от первобытного взрослого, в том числе демонстрирующего те же уровни развития восприятия, логического мышления и грамматики древнего цивилизованного взрослого, к современному цивилизованному взрослому (возрастает лишь на протяжении веков). Но каждый из трех этих типов носителей языка испытывает трудности восприятия, вызванные его синкретизмом и поверхностностью. Именно эти трудности приводят к тому, что в языке современных цивилизованных людей сохраняются рудименты СВ и ПВ. Насколько они преодолимы, рассмотрим в следующей, заключительной, главе на примерах русского синтаксического согласования.

ГЛАВА 4

ЭВОЛЮЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ ФОРМ СИНТАКСИЧЕСКОГО СОГЛАСОВАНИЯ В ИСТОРИИ РУССКОЙ ГРАММАТИКИ: PER ASPERA AD ALTERNATIONEM

Насколько бы синкретичным ни было восприятие у современных взрослых, у них оно встречается гораздо реже, чем у детей (и тем более антропидов) и первобытных (или древних) людей. Современные цивилизованные дети в свою очередь превосходят первобытных (древних) взрослых и за считанные годы достигают перцептивного и, как следствие, логического уровня цивилизованных взрослых, постепенно становясь ими. Цивилизованное человечество, постепенно развиваясь из детского первобытного состояния в современное, тоже взрослеет. Постепенно перцептивно-логически прогрессируют даже первобытные люди, очень медленно приобщаясь к влияющей на них современной цивилизации (но только в случае, если такое влияние действительно имеется, чего нельзя утверждать, например, в отношении всех индейцев Амазонии, различных этносов, живущих на Крайнем Севере, или африканских масаев и бушменов). Эти явления в основной своей массе не могут не обуславливать предположения относительно их идентичности с судьбой русского синтаксического согласования. Обратимся к его истории (изложенные в настоящей главе сведения в некоторой мере отражены в [Попов 2012]).

В истории русского синтаксиса в целом можно видеть поступательное движение грамматического строя русского языка к логической ясности. Как заметил Ф.И. Буслаев, говоря о русском синтаксисе не далее чем XIX века, «синтаксис новейшей книжной речи отличается от синтаксиса древнего и народного языка большею простотою и однообразием в правилах управления и согласования слов» [Буслаев 1959: 268]. Несложно прийти к допущению, что русский синтаксис начала XXI века имеет прогрессивные отличия от русского синтаксиса прежних столетий.

4.1. Явления древнерусского синтаксического согласования, не сохранившиеся в современном русском литературном языке

Начнем обзор с древнерусских примеров, согласованием в современном понимании не являющихся, но позволяющих понять механизм такого согласования. Речь идет о повторе предлогов и сочинительных союзов (например, *поклон от князя от Михаила; в серебро мешати медь*

и олово и свинец). Встречается такой повтор (да еще и с постпозицией союза) и в говорах: *реску режим ис салом и из аржаной; Олександром да, да Григорьём, да Миколаем да* [Шапиро 1953: 130, 234]. Многиеистики языка фиксируют это явление (см., например, [Потебня 1985: 189; Булаховский 1958: 404–405; Стеценко 1977: 109–111]). А.А. Шахматов даже считает, что повтор предлога подчеркивает «согласование приложения и определяемого слова», «уподобление определения определяемому слову» [Шахматов 1941: 288, 308]. Но далеко не все исследователи выясняют причину такого повтора. Объяснить причину повтора предлога берется Н.П. Гринкова: на примерах купчих грамот она объясняет повтор предлога стремлением говорящих логически выделить каждое слово в именном словосочетании [Гринкова 1948: 93–103]. В.И. Борковский объясняет такой повтор по сути тем же: стремлением «подчеркнуть данные слова, обратить на них особое внимание» [Борковский 1965: 450]. Это, по всей видимости, действительно первое, что приходит на ум при первом взгляде на данное явление (согласно перцептивному закону близости — при ПВ). Но тогда остается выяснить, почему такое простое логическое выделение сейчас почти не используется. П.Я. Черных видит причину повтора предлогов и союзов «не столько в стремлении подчеркнуть отдельные члены предложения, сколько в характере мышления древнерусских людей», сущность этого характера не объясняя [Черных 1962: 323–325]. Опираясь на данные предыдущих глав, мы можем объяснить особенность этого «характера мышления» следующим образом. Говорящий мог если не забыть следующее за первым слово, то не обратиться на выражаемое им понятие должного внимания, то есть не воспринять его, и потому повторял предлог перед этим словом, таким образом закрепляя существование последнего «для надежности», не осознавая, что употребления одного предлога для этого достаточно. Так же, употребляя союз *и* первый раз, говорящий не осознавал (не предвидел абстрактно), что следующее за этим союзом существительное — в перечислении не последнее. Предложенное Н.П. Гринковой и В.И. Борковским объяснение приведенному нами никак не противоречит: на фоне объяснения повтора неразвитостью абстрактного мышления объяснение повтора стремлением логически выделить какое-то слово выглядит конкретным примером указанной неразвитости. Аналогичным образом дошкольников и учеников младших классов заставляют многократно и вслух повторять простые теоретические положения — «чтобы лучше запомнились». Именно в этом «жанре» пишутся стихи для детей, например таково знаменитое стихотворение К.И. Чуковского «Мойдодыр», намеренно переполненное лексическими повторами.

А.А. Потебня отдельно оговаривает странность для современных ему носителей русского языка постановки сочинительного «союза между словами, соединенными атрибутивно», например *Назвала дружка горькой пьяницей, Горькой пьяницей и пропойцей* (из русской народной песни). А.А. Потебня называет в таких случаях союзы «плеонастическими частицами, заполняющими собой пробелы мысли» [Потебня 1968: 216–247], но это образное утверждение выглядит неоправданным, ибо звено, связывающее одинаковые мысли, трудно признать заменой мысли. Повтор мысли посредством сочинительного союза осуществляется не потому, что нечего больше сказать (нет-де мысли), а потому, что, как мы уже показали в предыдущем абзаце, согласно примитивным, неабстрактным представлениям «повторенье — мать ученья», оплот убедительности и надежности. И это явление посредством АИВ было изжито.

Логично (в результате АИВ) покинули русский синтаксис «странные случаи соединения подлежащих-существительных мужского и женского рода со сказуемым прилагательным среднего рода», например *грех сладко, а человек падко* [Чернышев 1970: 194]. В.И. Чернышев, критикуя объяснение Ф.И. Буслаева, предложившего неприемлемую причину употребления среднего рода прилагательных в таких случаях: «Если сказуемое относится вообще к понятию, выражаемому существительным в подлежащем, то ставится в ср. р. ед. ч., как в форме, наиболее соответствующей отвлеченному понятию» [Буслаев 1959: 446], — и обращая внимание на то, что «в народе эти пословицы не встречаются», пришел к выводу, что эти странные употребления являются по происхождению кальками-эллинизмами, на некоторое время появившимися в просвещенных слоях общества [Чернышев 1970: 194–198].

Не стало достоянием литературного языка (под воздействием АИВ) нарушение согласования в сильно акающих говорах типа *худая вино, парная молоко, куриная яйцо, чистая лицо, дорогая ружье*, то есть согласование существительных ср. р. даже с ударной флексией на *-о* в ж. р., в котором — в устной речи, не находящейся под влиянием письменной, — воспринимаются слова ср. р. прежде всего как клитичной флексией *-о*. На первый взгляд, к этому приводит невосприятие носителями таких говоров ударения существительного как дифференциального признака, существенного для согласования с ним в роде (СВ). Однако можно допустить и то, что исчезновение формы ср. р. в таких случаях свидетельствует о тенденции к бинарности грамматического рода как м. р. и ж. р. (это наблюдается, например, в современном французском). Впрочем, считать это допущение основательным мешает тот факт, что в косвенных падежах рассматриваемый ж. р. прилагательных не сохраняется: *маево села, бальшова окна* [Там же: 199–204].

Примеры несогласования в роде в говорах типа *мое жеребенок, одно ягненок, больное ребенок* В.И. Чернышев логично объясняет тем, что попадает в поле зрения исследователя прежде всего: и инерцией рода первоначальных форм *жеребя, ягня, робя*, и влиянием рода уменьшительно-ласкательных форм *жеребятко, ягнятко, дитятко* [Там же: 204–205]. Логично также допустить, что ср. р. — и в начальных, и в более поздних названиях детей и животных — обусловлен корреляцией ср. р. с ранней неодушевленностью таких названий.

Не сохранилось (в силу АИВ) в русском языке и не приводившее к затруднениям в коммуникации согласование прилагательных в ж. р. с числительными, которое встречалось даже в речи М.В. Ломоносова, например *каждую пять лет, всякую полгода* (СВ; с тех пор числительные на *-ть* склоняются по женскому типу). А.М. Пешковский пишет прямо, что «слова *пять, шесть* и т. д. по форме своей, собственно, существительные единственного числа, как *кость, мякоть, пыль* и т. д.» [Пешковский 1956: 187]. Ф.И. Буслаев считал (и В.И. Чернышев с ним в этом солидарен [Чернышев 1970: 198–199]), что причиной прекращения подобного согласования стало развитое логическое и «отвлеченное» мышление [Буслаев 1959: 433–436]. Понятно, что причиной указанного прекращения стало развитие прежде всего не логического, а «отвлеченного» (= абстрактного) мышления, столь нужного для восприятия чисто количественного аспекта числительных, и лишь затем — на базе прогрессирующего абстрактного восприятия числа — развитие мышления логического. Как известно, с современными количественными числительными атрибутивы согласуются во мн. ч. (*каждые пять лет*), однако не без происходящих по аналогии преувеличений множественности в таких примерах, как *всякие полгода*, ведь *пол-* есть половина от *одного*, согласующегося в ед. ч. (*каждый год*, а не *каждые год**). Поскольку согласование во мн. ч. начинается с числовых значений, возрастающих от единицы (например, *каждые полтора года*), логично было бы ожидать, что числовое значение меньше единицы никак не должно иметь форму мн. ч., как не имеет ее слово *половина* (например, *Каждая половина года нравится мне по-своему*).

В древнерусском языке срабатывало исключительно семантическое согласование сказуемого с существительным, выраженным существительным ед. ч. с собирательным значением, но в основном в случае его одушевленности и «неживотности», что в целом соответствует стадиям развития категории одушевленности в русском языке (*храбрая дружина рыкают аки тури*) [Черных 1962: 307; Борковский 1965: 352–358; Стеценко 1977: 51–52; Историческая грамматика... 1978: 30–40; Иванов

1983: 379]. То есть абстрактное по своей сути грамматическое основание ед. ч. в то время носителями языка не воспринималось — они обращали внимание лишь на эмпирически очевидную множественность в лексических значениях собирательных существительных (ПВ). Однако с развитием АИВ и абстрактного мышления согласование меняется: «Постепенное угасание к XVII в. смыслового согласования при собирательных именах было связано прежде всего с общей тенденцией к усилению формально-грамматического согласования за счет смыслового» [Историческая грамматика... 1978: 35] (Л.А. Булаховский относит это «угасание» к середине XVIII века [Булаховский 1958: 317]). А.Б. Шапиро отмечает, что в русских народных говорах (середины XX века) наблюдается промежуточный этап в сфере данного согласования: если собирательное существительное обозначает совокупность предметов одушевленных — сказуемое согласуется с ним во мн. ч.; если такое существительное обозначает совокупность предметов неодушевленных — сказуемое ставится в ед. ч. [Шапиро 1953: 179–181]. То есть одушевленность воспринимается как показатель активности, и эта активность напоминает о множественности скорее, нежели неактивность неодушевленных предметов (к этой закономерности мы возвращаемся в следующем пункте настоящей главы). В современном же языке, как известно, все собирательные существительные демонстрируют грамматическое согласование со сказуемым: согласуются с ним только в ед. ч. (об этом специально пишет В.И. Чернышев примерно век назад [Чернышев 1970¹: 589]).

Определения при собирательных словах обычно имели и имеют форму ед. ч.: *храбрая дружина* (то же наблюдается в относительно современных народных говорах, изученных А.Б. Шапиро [Шапиро 1953: 180]). Мн. ч. в таких сочетаниях встречается редко: *множества народа неистовых, многие наша братья* [Булаховский 1958: 317]. В.И. Борковский объясняет это тем, что прилагательные имеют «большую формальную близость к собирательным словам, чем глагол» [Борковский 1965: 354; Историческая грамматика... 1978: 35].

В древнерусском языке обычным явлением было несогласование приложения в падеже: *А зовуть его Власкомъ, Ивановъ сынъ; продалъ одному рядку лазореву, поношена, золотаревская* [Ломоносов 1952: 554–555; Буслаев 1959: 451–456; Потевня 1968: 203–215; Стеценко 1977: 63]. Как можно видеть, приложение остается в именительном падеже, то есть в той начальной форме, в которой существительные и хранятся в памяти говорящего (в правом полушарии мозга). Неосознание необходимости согласования приложения в падеже со словом, к которому оно прилагается, как проявление грамматического противоречия (СВ), в современном

русском языке почти не встречается (еще А.А. Шахматов указывал на этот факт [Шахматов 1941: 287–288]). Чаще всего подобное несогласование еще наблюдается у слов, находящихся в скобках, например *Укажите место проживания (город, улица, дом, квартира)*, однако примеры Национального корпуса русского языка (далее — НКРЯ) показывают, что постепенно грамматическим согласованием логично преодолевается и такая «преграда», как скобки: *Укажите место проживания (город, улицу, дом, квартиру)* (АИВ).

При согласовании атрибутива в роде с субстантивом, имеющим уменьшительный суффикс, в древнерусском наблюдаются колебания, отмеченные еще М.В. Ломоносовым, который считал допустимыми сочетания атрибутивов с «презрительными умалительными» субстантивами типа *наш столишко* и *наше столишко*. В первом случае воспринимается род мотивирующего слова, во втором — мотивированного [Ломоносов 1952: 473–474; Историческая грамматика... 1978: 161–163] (ПВ). Согласование по роду мотивирующего слова (преобладающее в современном языке при АИВ) можно объяснить тем, что при такой деривации в лексическом значении происходит изменение не денотата, а коннотации, в силу чего грамматическое внимание такому малозначительному изменению не уделяется и род мотивирующего слова сохраняется в роде мотивированного слова. Разумеется, такое понимание родовой принадлежности слова типа *столишко* возможно лишь при мыслительной операции логичного абстрагирования от окончания такого мотивированного слова — ср. р. Аналогичное по своей природе абстрагирование происходит при согласовании в обращениях на Вы. На ед. ч. прилагательного в таких случаях обращает внимание А.А. Шахматов и приводит пример из романа И.С. Тургенева «Дворянское гнездо»: «*Какой вы добрый; вы артист. Вы сегодня не такой, каким я вас видела до сих пор*» [Шахматов 1941: 250]. Ед. ч. здесь употребляется потому, что говорящий абстрагируется от формы мн. ч. у *вы*, считая более логичным показать в определении действительную единичность адресата (АИВ).

4.2. Согласование в числе с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием

При согласовании с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием, постпозитивного атрибутива, в данном случае — причастия, возможны употребления типа *два стола, купленных вчера* или *двадцать четыре автомобиля, участвующих в соревновании*, демонстрирующие согласование в род. п. вместо им. или вин. п. Оно обусловлено ориентацией причастия на ближайшее к нему существительное, то

есть является демонстрацией ПВ, но вряд ли может быть признано корректным. Во-первых, в этом случае вне восприятия оказывается несущее важную информацию числительное. Во-вторых, в препозиции наблюдается им. или вин. п. (исключения, как известно, составляют слова с количественным значением типа *целый, полный, долгий*): *купленные вчера два стола, участвующие в соревновании двадцать четыре автомобиля* — в этом случае атрибутив ориентируется на мн. ч. не только числительного, но и всей управляющей конструкции, которая, по всеобщему признанию, является единым подлежащим с количественно-именным значением. В-третьих, в параллельной причастному обороту конструкции с союзным словом *который* оно употребляется только в им. или вин. п.: *два стола, которые куплены вчера* или *двадцать четыре спортсмена, которые приехали на соревнование*.

В отношении таких же сочетаний со сказуемым дело обстоит сложнее.

Уже век назад А.М. Пешковский констатировал, что «глагол иногда не согласуется в числе с подлежащим» [Пешковский 1956: 187]. В древнерусском такие подлежащие (включающие лишь «одушевленночеловеческие» существительные), как и слова с собирательным значением, демонстрировали только семантическое согласование со сказуемым, то есть употреблялись во мн. ч. [Шахматов 1941: 257; Историческая грамматика... 1978: 24–25]. А.Н. Стеценко фиксирует во всех случаях таких сочетаний оба числа сказуемого [Стеценко 1977: 52]. В современном русском языке такие употребления тоже вариантны: сказуемое в них встречается и в ед., и во мн. ч., например *несколько человек пришло* — *несколько человек пришли*. Это первый в нашем изложении случай альтернативно-диспозитивного восприятия (АДВ): проблему выбора ставит грамматико-семантическая неопределенность числа подлежащего.

Условия употребления таких вариантов интересуют исследователей уже несколько десятилетий (показанные далее соображения отчасти отражены в [Попов 2005]). Исследования таких вариантов особенно активно проводились в пятидесятые-шестидесятые годы прошлого века (см. литературу в [Граудина, Ицкович, Катлинская 2001: 34–35]). Именно тогда был продемонстрирован богатый иллюстративный материал, содержащий указанные варианты, взятый в основном из газетно-публицистической речи, были представлены результаты наблюдений за их употреблением, в частности названы факторы, влияющие на выбор того или иного варианта числа сказуемого. Итоги проведенных исследований были отражены в обобщающей работе В.А. Ицковича [Там же: 33–39]. Описываемые варианты согласования автор разделил на несколько типов: *ряд человек сидел* — *ряд человек сидели, большинство людей*

стремилось — большинство людей стремились (слово *людей* добавлено нами, поскольку без зависимого существительного в родительном падеже множественного числа, как это наблюдается в рассматриваемой работе, данный тип выглядит структурно неполным), *пришло несколько человек* — *пришли несколько человек, работают сто человек* — *работает сто человек, около миллиона человек бастует* — *около миллиона человек бастуют, учится более ста человек* — *учатся более ста человек*. По разным типам вариантов согласования приведены приблизительно однотипные перечни факторов, влияющих на выбор того или иного варианта. Сведение их в один набор, состоящий из двух групп, дает следующую многокритериальную картину (примеры взяты из рассматриваемой работы):

1. Факторы, влияющие на согласование сказуемого в единственном числе:

- 1.1) грамматическое значение единственного числа у главных членов *ряд, большинство* и у словоформы *миллиона*: *Ряд хозяйств запоздал с уборкой свеклы; Большинство слушателей выполнило в срок все работы; Около миллиона человек бастует;*
- 1.2) пассивность подлежащего или сказуемого: *В изменениях правил допущен ряд недостатков; Прошло несколько минут;*
- 1.3) близость сказуемого к подлежащему: *Большинство греков было возмущено этой закулисной интригой;*
- 1.4) препозиция сказуемого: *Его опередило несколько лыжников; Работает сто человек;*
- 1.5) совместность действия подлежащих: *Большинство дачников уехало вечерним поездом;*
- 1.6) указание сказуемым на факт наличия, существования: *В нашей стране издается более 80 журналов по различным отраслям сельского хозяйства;*
- 1.7) стремление обратить внимание на количество, названное в подлежащем: *В результате наводнения погибло 25 человек.*

2. Факторы, влияющие на согласование сказуемого во множественном числе:

- 2.1) наличие при словах *ряд* и *большинство* постпозитивного определительного оборота с главным словом — причастием или прилагательным в форме множественного числа: *Ряд видных деятелей, выступивших на суде в качестве свидетелей, высоко отзывались о моральных качествах и патриотизме Глезоса; Большинство людей, живущих сегодня на свете, застали уже хотя бы ранние зачатки настоящей авиации;*

- 2.2) наличие при подлежащих *ряд* и *большинство* однородных зависимых существительных в форме множественного числа: *Ряд штангистов, борцов, легкоатлетов, пловцов неоднократно занимали призовые места; Большинство из ритуалов и праздников, которые описывают авторы, еще далеки от совершенства;*
- 2.3) удаленность сказуемого от подлежащего: *Ряд делегатов от западных стран, в том числе Англии, США, пытались воспрепятствовать принятию антирасистских резолюций;*
- 2.4) активность подлежащего или сказуемого: *Ряд жирондистских ораторов продолжали настаивать на неприкосновенности короля; Прошли несколько человек; Выступят более ста спортсменов;*
- 2.5) раздельность действий подлежащих: *С началом учебного года большинство дачников перебрались в город;*
- 2.6) выражение сказуемого кратким прилагательным: *Несколько статей в этом сборнике интересны;*
- 2.7) препозиция подлежащего: *Более ста человек погибли в результате катастрофы.*

В работе В.А. Ицковича постоянно подчеркивается, что перечисленные факторы лишь способствуют употреблению варианта единственного или множественного числа, но не диктуют его однозначно, чем и констатируется отсутствие более четких предписаний по употреблению этих типов вариантов. Наши наблюдения показывают, что разнообразием указанных критериев при выборе варианта согласования носители языка в основном пренебрегают, отдавая предпочтение определенному универсально-семантическому критерию. Терминологически ближе других к нему факторы 1.2: пассивность подлежащего или сказуемого (и парный ему 2.4: активность подлежащего или сказуемого) — и 1.6: указание сказуемым на факт наличия, существования. Нам же более удачным представляется термин «деятельность-бездеятельность субъектов ситуации». Он позволяет учесть в одном наименовании ситуации не только физической, но и ментальной активности-пассивности субъектов и избежать термина «субъекты действия», когда речь идет о субъектах отношения, вполне соответствующего логическому квантору существования (значение 'есть — нет', или фактор 1.6: указание сказуемым на факт наличия, существования). Применение сформулированного нами критерия к приведенным типам вариантов согласования с учетом предложенных В.А. Ицковичем факторов, влияющих на согласование глагольного сказуемого в ед. или мн. ч., позволяет проверить действенность этого критерия.

Рассмотрим крайние случаи с постпозицией сказуемого: *Ряд/Большинство/Несколько/Сто/Около миллиона/Более ста рабочих и служащих, побывавших в том месте, перебираться туда отказался/отказалось* (подчеркивается только факт отказа субъектов ситуации = бездеятельность субъектов ситуации; факторы множественного числа 2.1–2.3 и 2.5 не сработали); *Ряд/Большинство/Несколько/Сто/Около миллиона/Более ста рабочих и служащих, побывавших в этом месте, перебираться туда отказались, громко сетуя на плохие бытовые условия* (подчеркивается сопровождающее отказ активное поведение субъектов ситуации = деятельность субъектов ситуации; наиболее надежный фактор единственного числа 1.1 не сработал).

Возьмем примеры с препозицией сказуемого и близостью сказуемого к подлежащему (классически сильные позиции для согласования сказуемого в единственном числе): *У подъезда стояло несколько автомобилей* (подчеркивается только факт наличия субъектов ситуации = бездеятельность субъектов ситуации); *У подъезда стояли несколько автомобилей и весело мигали фарами* (подчеркиваются действия субъектов ситуации, сопровождающие наличие, = деятельность субъектов ситуации; факторы единственного числа 1.3–1.5 и 1.7 не сработали). Задать (представить) ситуации деятельности-бездеятельности субъектов можно в отношении любого примера из приведенных выше, дополнив контексты необходимыми для той или иной ситуации уточнителями. Весьма примечательно, что Д.Э. Розенталь и его последователи, признавая активизацию семантического согласования в последние десятилетия, не всегда обращают внимания на контекстные показатели такой активности. Так, Ю.А. Бельчиков пишет: «По наблюдениям профессора Д.Э. Розенталя, в конце XX века глагол-сказуемое во множественном числе при подлежащем, выраженном счетным оборотом неопределенного множества, «чаще... указывает на активное действие и относится к подлежащему со значением лица...», напр.: *Десятка два мальчишек собралась на стадионе; Сотни женщин вышли на проезжую часть улицы, протестуя против высоких тарифов*» [Бельчиков 2008: 246] (выделено нами). Совершенно очевидно, что второй пример выглядит гораздо естественнее первого, поскольку, в отличие от него, содержит показатель активности деятельности — деепричастный оборот. В другом месте все же находим прямое указание на употребление мн. ч., если «в предложении есть слова, подчеркивающие активность производителей действия», которое сопровождается примером *Ряд богословов с негодованием протестуют против экспериментов по клонированию человека* [Там же: 239]. Однако этот критерий упомянут здесь как один из множества других, а не как универсальный, к чему склоняется наше мнение.

На основании многолетних наблюдений мы можем предположить, что мыслительная операция говорящего в процессе выбора варианта рассматриваемого здесь согласования представляет собой восприятие ситуации, в центре которой субъект (неважно — одушевленный или неодушевленный с точки зрения морфологии) либо деятелен (в этом случае наблюдается категоризация множественности в левом полушарии мозга), либо всего лишь кванторно значится, числится, наличествует (нерасчленимый образ, формируемый правым полушарием мозга).

Предложенный нами критерий не работает, если в контексте присутствует определение при подлежащем — атрибутивный показатель неединичности субъектов ситуации, никак с процессуальностью не связанный, например *Эти несколько автомобилей стоят (но не стоит*) у подъезда; Построены (но не построено*) новые двадцать домов* (данный случай был описан Д.Э. Розенталем [Розенталь 1977: 198]). В этих примерах слишком явно противоречие между всегда мн. ч. такого определения и возможным ед. ч. сказуемого. Кроме того, это определение имеет форму им. п., то есть характеризует подлежащее, в свою очередь обуславливающее формы сказуемого, число которого в данном случае задается «через голову» неопределенного в количественном отношении подлежащего.

Таким же образом объясняется отсутствие в описываемых сочетаниях форм ед. ч. сказуемого — краткого прилагательного (*Несколько статей в этом сборнике интересны*). Дело в том, что, несмотря на свою «сказуемость», краткие прилагательные безразличны к свойственной глаголам процессуальности, поэтому критерий деятельности / бездеятельности к ним неприменим. Будучи именами, в рассматриваемых случаях они ведут себя как существительные, то есть согласуются по смыслу, ориентируясь на факты денотативной единичности / неединичности субъектов ситуации: *несколько статей* семантически коррелирует с формой мн. ч. *статьи*, а не с формой ед. ч. *статья*. Этим и объясняется правильность мн. ч. кратких прилагательных в *Несколько статей интересны* и невозможность ед. ч. в *Несколько статей интересна**. По этой же причине форма *интересно* в таком сочетании может встречаться очень редко, гораздо реже глагола, ср. *Несколько статей интересно (?)* и *Несколько статей меня заинтересовало*.

Очевидно, что для употребления мн. ч. сказуемого носителю языка нужно убедиться в проявлении множественности в подлежащем. Эта множественность обнаруживается по-разному. Так, субъекты ситуации могут быть неподвижными, но издающими звуки — тогда неединичность субъектов обнаруживается благодаря восприятию количества их голосов, например *Десятка два громко кричащих мальчишек сидят*

на трибуне. Субъекты ситуации даже могут спать, но во сне двигаться, например *Большинство курильщиков спят, постоянно ворочаясь*, — в этом случае множественность со всей очевидностью замечается благодаря движению. Однако звуковые волны (например, при крике мальчишек) — тоже своего рода движение. Такая «множественность в движении» и воспринимается в первую очередь. По данным психологов, все живые организмы на движение реагируют прежде всего, особенно «если объект движется прерывно и является звучащим, вызывающим слуховую ориентировочную реакцию» [Ананьев, Дворяшина, Кудрявцева 1968: 73] (о том же пишут Р.Л. Грегори и Т. Бауэр [Грегори 1970: 101; Бауэр 1985: 230]). Р.Л. Грегори, как специалист в области зрительного восприятия, даже приводит примеры, свидетельствующие о том, что восприятие движения — жизненно важная потребность: «...лягушка, окруженная мертвыми мухами, погибнет от голода...» [Грегори 1970: 250]. Ученый также полагает, что само «зрение развилось, вероятно, из реакции на движущиеся по поверхности кожи тени — сигнал близкой опасности» [Грегори 1972: 11].

Вряд ли можно найти лучшие доказательства правильности деятельностного критерия восприятия множественности с категоризацией в «левом мозге» (два исключения мы оговорили выше). Этому «восприятию с категоризацией» диспозитивно противопоставлена альтернатива: невосприятие «левым мозгом» множественности при отсутствии деятельности, когда бездействующие субъекты ситуации воспринимаются «правым мозгом» как гештальтное целое. Во втором случае восприятие является синкретичным (СВ), но оно тоже по-своему востребовано: необходимостью в создании «правым мозгом» целостного статичного образа, в коммуникативном отношении ценного самого по себе.

4.3. Согласование русского предикативного имени с подлежащим

Нечто алгоритмически похожее на описанную выше дифференциацию обнаруживается в случаях вариантности конструкций с именительным предикативным (обратным согласованием), например *Он был сапожник*, и с творительным предикативным, например *Он был сапожником* (согласовательная аналогия наблюдается и при другой падежной оппозиции, но только с прилагательным: *Его привели пьяного* — *Его привели пьяным*). АИВ это или АДВ — ясно далеко не сразу. Противоречие двух именительных падежей в одной глагольной конструкции в случае с именительным предикативным, часто мешающее пониманию смысла (например, в *Дворник был солдат* — неясно, кто кем был: русский порядок слов гарантий понимания в таких случаях не дает), и относитель-

но невысокая его частотность приводят исследователей к мысли о постепенном вытеснении такого противоречивого явления конструкцией с творительным предикативным [Ломоносов 1952: 564; Булаховский 1958: 300–304; Черных 1962: 302–303, Ломтев 1956: 89–132; Борковский 1965: 360–366; Иванов 1983: 377–378] (это АИВ; кроме того, только конструкцию с творительным предикативным репрезентируют иностранным студентам, изучающим русский язык на подготовительных факультетах). В течение XX века многие исследователи создаваемого именительным предикативным обратного согласования склонялись к тому, что именительный предикативный выражает значение постоянного признака, в то время как творительный предикативный — непостоянного (см., например, [Тимберлейк 1985: 278–282; Бельчиков 2008: 229]) (это проявление АДВ). Однако на практике действие этого различительного алгоритма не подтверждалось, что стимулировало новые исследования этого труднообъяснимого явления, иногда заканчивавшиеся отчаянием: отказом от поиска инварианта (см., например, [Никольс 1985]). Между тем аналогия брала свое, и именительный предикативный казался и сейчас кажется — при поверхностном рассмотрении (ПВ) — уходящим под давлением синонимичных глагольных конструкций (АИВ): если *Он был дворник* еще допустимо, то *Он работал дворник** или *Он считался дворник** — уже нет, в этих случаях возможен лишь творительный предикативный.

Однако в 2005 году в журнале «Вопросы языкознания» (№ 4) была опубликована статья Г.М. Зельдовича, в которой он убедительно доказывает, что именительный предикативный (и винительный предикативный для прилагательных) имеет значение статичности, картинности, наглядно-образной фиксированности, которому ученый предложил присвоить термин «наблюденность», в то время как творительный предикативный, называя объект, соотносит его со всем классом подобных объектов. Наиболее убедительное, на наш взгляд, из приведенных автором доказательств состоит в возможности именительного (винительного для прилагательных) предикативного и соответственно невозможности творительного предикативного употребляться в восклицательных (эмоционально окрашенных) предложениях: ср. абсолютную корректность *Ну ты был ма-а-астер! Хоро-о-ошего тебя вчера привели!* и невозможность *Ну ты был ма-а-астером!* Хоро-о-ошим тебя вчера привели!** [Зельдович 2005] (АДВ). Можно, очевидно, опираясь на данные о функциональной асимметрии мозга (см. главу 1 и предыдущий пункт), считать, что именительный (винительный для прилагательных) предикативный с присущим ему значением конкретной, образной, застывшей наблюденности фиксируется правым полушарием мозга (и закономерно

является исторически более ранним, чем его оппонент, — ср. с данными А.Н. Гвоздева о том, что Женей Гвоздевым именительный предикативный употреблялся до 6-летнего возраста при полном отсутствии творительного предикативного, глава 1), а творительный предикативный с присущим ему значением обобщенности всех возможных объектов, один из которых в момент речи обозначается этим падежом, отражается доминантным, категоризирующим левым полушарием, что в целом поддерживает предложенный Г.М. Зельдовичем алгоритм. Понятно, почему в примерах НКРЯ именительный предикативный встречается гораздо реже своего «творительного оппонента»: редки сами ситуации «наблюденности», в том числе эмоционально-восклицательной. Однако в силу их хоть в какой-то мере существования, а значит в силу имеющейся коммуникативной потребности в обозначении именно такого восприятия, можно предположить, что совсем — именительный (винительный для прилагательных) предикативный не исчезнет, как не исчезает лишь на словах обретаемый кодификаторами на исчезновение по причине низкой частотности родительный падеж (бывший партитив) типа *чаю* (с этого места и до конца абзаца позволим себе небольшое отступление в сферу синтаксического управления). Не исчезают формы род. п. типа *чаю* потому, что в современном языке они получили коммуникативно востребованное значение неопределенного количества вещества. В настоящее время в *Давай выпьем чаю* форма *чаю* никогда не меняется на форму *чая*, поскольку, в отличие от употребления в сочетаниях с обозначением меры (*чашка чая*), имеет значение указанной неопределенности количества вещества, ведь количество чая, который после принятия указанного предложения будет выпит, обычно заранее неизвестно. Это тоже АДВ (подробнее — см. [Попов 2008]).

4.4. Согласование в числе препозитивного сказуемого с однородными подлежащими

При сочетании препозитивного сказуемого с однородными подлежащими (особенно неодушевленными) древнерусский синтаксис демонстрирует в основном ПВ: сказуемое согласуется в ед. ч. с первым (то есть ближайшим к нему) подлежащим, если оно тоже имеет форму ед. ч., словно не замечает следующее за ним второе подлежащее, позволяющее понять, что раз подлежащих два, то семантико-грамматически это уже больше одного (примеры см. ниже).

А.А. Шахматов допускает и мн. ч. сказуемого в таких случаях, видя в этом «согласованность не грамматическую, а смысловую» [Шахматов 1941: 253–254]. Из этого следует, что согласование сказуемого с одно-

родными подлежащими в ед. ч. А.А. Шахматов считает грамматическим, что вряд ли корректно, поскольку такое согласование наблюдается только с первым, то есть ближайшим, подлежащим, в то время как второе (третье и т. д.) по перцептивному закону близости просто не воспринимается. Грамматичность при таком понимании выглядит весьма избирательной.

Л.А. Булаховский говорит о ед. ч. сказуемого в таких случаях, но осознает его неестественность: «В языке Летописи (Повести врем. лет) сказуемое перед двумя подлежащими употребляется в единственном числе, т. е. как бы согласуется только с первым подлежащим: *И рече Свенелд и Асмолд...* Наоборот, в постпозитивном употреблении в подобных случаях ожидаемое двойственное число: *Святополк и Володимер посласта к Олгови*» [Булаховский 1958: 316].

Ф.И. Буслаев, приведя пушкинские примеры употребления формы ед. ч. сказуемого перед однородными подлежащими: *исчезла ревность и досада; поднялся в поле треск и звон; был слышен падших скорбный стон и русских витязей молитвы*, — замечает: «Так свойственно нашей речи это согласование, что в большей части приведенных здесь примеров было бы весьма неприятно слуху и противно употреблению мн. число сказуемого, хотя и согласное с законами логического сочетания понятий. Особенно необходимо единственное число сказуемого при двух или нескольких подлежащих синонимических; напр., «и будет тогда тебе великий срам и стыд», Жук.» [Буслаев 1959: 447]. Показательно, что Ф.И. Буслаев, нередко упрекаемый в чрезмерном логицизме, в данном случае не только не настаивает на логичной форме мн. ч. сказуемого, но и считает нормальным логически неприемлемый плеоназм *срам и стыд*, хотя из него он именно логическим путем выводит, что ед. ч. здесь нужно потому, что у слов *срам* и *стыд* (ср. с приведенными выше *пьяницей* и *пропойцей*, а также с отрывком из «Мойдодыра» К.И. Чуковского: *а нечистым трубочистам — стыд и срам, стыд и срам*) — значение на самом деле одно.

М.В. Ломоносов в середине XVIII века считал допустимым ед. ч. сказуемого даже в постпозиции к однородным подлежащим: *взгляды, рѣчь и учтивость часто обольщает* [Ломоносов 1952: 556].

В.И. Чернышев высказывается по этой проблеме крайне осторожно: «При нескольких подлежащих сказуемое слитного предложения, по логическому смыслу речи, должно бы всегда стоять во множественном числе, но оно очень часто встречается и в единственном. Последнее употребление является неотъемлемым свойством нашей речи и никак не должно считаться неправильным» [Чернышев 1970¹: 590] (в данном случае В.И. Чернышев не признаёт идею эволюции языка, хотя обычно весьма активно отстаивает противоположную точку зрения — см. часть «Вместо введения»).

В современной письменной речи препозитивное сказуемое согласуется с однородными подлежащими только во мн. ч. (АИВ) — на этот факт еще в 1976 году указал В.А. Ицкович [ГИК: 39]. Однако рекомендация Д.Э. Розенталя употреблять сказуемое в единственном числе, если это сказуемое находится в препозиции к определяемым однородным подлежащим [Розенталь 1977: 209] (именно согласно этой рекомендации был использован пример *изучалась математика и химия*, показанный нами в части «Вместо введения» и первых трех главах), поддержанная его последователями [Солганик 2010: 198; Голуб 2007: 378–379; Бельчиков 2008: 246–247], продолжает существовать, смущая умы наблюдательных носителей русского языка, хотя примерами современной письменной речи, в частности из НКРЯ, почти не подтверждается. В устной речи ПВ в случае препозиции сказуемого более оправданно: начиная фразу со сказуемого, говорящий действительно не всегда может знать заранее, одно или не одно подлежащее ему понадобится: *Придет Петя... ах да, и Дима*.

4.5. Согласование в числе сказуемого с сочетанием именительного и творительного общности

Что касается сочетаний именительного с творительным общности (творительным социативным) при их согласовании в числе со сказуемым (в любой его позиции), например *Едет / едут отец с матерью; Иван с Петром пошел / пошли в кино*, то, по свидетельствам историков языка, «все словосочетание служило подлежащим, сказуемое согласовывалось с ним как правило во множественном числе» [Историческая грамматика... 1978: 23] (АИВ). Об этом сообщают также Ф.И. Буслаев и В.И. Чернышев [Буслаев 1959: 448; Чернышев 1970¹: 589–590]. О том же пишет А.Н. Стеценко, обращая внимание на то, что для ед. ч. сказуемого важно, чтобы «лицо, обозначаемое творительным падежом», являлось «второстепенным, сопутствующим первому» [Стеценко 1977: 52–53].

Такому, на первый взгляд — парадоксальному, древнерусскому явлению (*едет Иван и Петр, но едут Иван с Петром*) есть объяснение.

В первом случае — в конструкции с соединительным союзом *и* — говорящий недальновидно воспринимал лишь ближайшее подлежащее (ПВ) потому, что в дальнейшем союз *и* и следующее за ним другое подлежащее могут и не обнаружиться; более того, союз *и* может быть постпозитивным (см. об этом ниже) и вовсе не требовать после себя продолжения, то есть являться возможностью продолжения, реализация которой факультативна. С союзом *и* наблюдается и такая странность: «В поздних памятниках (XVI–XVII вв.) встретились любопытные слу-

чаи соединения именительного и творительного социативного союзом *и*: *И бишася мало, и побѣже князь велики и с матерью во Тверь*» [Историческая грамматика... 1978: 23]. Очевидно, в этих случаях наблюдается контаминация (СВ) конструкций *князь великии с матерью* и *князь велики и мать* по причине их семантического тождества (о таком смысловом восприятии свидетельствует и ед. ч. сказуемого *побѣже*, которое возможно в конструкции с союзом *и*). Во втором случае — благодаря творительному падежу, соединенному с предыдущим словом «жесткой сцепкой» посредством предлога *с*, который никогда не оказывается в постпозиции и потому не бывает факультативной возможностью присоединения творительного падежа, — говорящий быстрее замечает семантическую неединичность такой сцепки и логично согласует с ней сказуемое во мн. ч.

Однако в современном русском языке возможны оба числа сказуемого в таких сочетаниях. Традиционно они дифференцируются по признаку «равноправности / неравноправности субъектов действия» [Розенталь 1977: 204–205], коррелирующему с признаком деятельности / бездеятельности субъектов ситуации — см. пункт 4.2: *В деревню поехал брат с сестренкой* — сестренка находится при брате, то есть бездеятельна, и *Из последних сил поддерживая друг друга, брат с сестренкой дошли до больницы* — оба субъекта действуют (АДВ).

4.6. Согласование в числе сказуемого в придаточных, относящихся к словам *все* и *те* в составе главных предложений

С давних пор в русском языке употребляются варианты согласования в числе типа *все, кто работает* — *все, кто работают* и *те, кто работает* — *те, кто работают* (приведенные далее по этому поводу сведения отчасти отражены в [Попов 2006]). Вопрос выбора (АДВ или АИВ) числа сказуемого в рассматриваемых конструкциях является одним из наименее изученных.

В 1976 году в первом издании словаря «Грамматическая правильность русской речи» В.А. Ицкович опубликовал результат статистического анализа употребления первой пары из указанных вариантов (см. эту словарную статью во втором издании — [Граудина, Ицкович, Катлинская 2001: 40]) и показал, что в современном русском языке в вариантах типа *все, кто работает* — *все, кто работают* ед. ч. сказуемого преобладает в 96,78% случаев. Следующим, более широким, но тоже не объясняющим, а исключительно констатирующим описанием употреблений подобных вариантов является справочник [Бельчиков 2008: 256–257]. В.А. Ицкович обратил внимание на специфику местоимения *кто*.

Она состоит в непреходящей семантической, в самой форме *кто* грамматически не выраженной, то есть имплицитной, предрасположенности к мужскому роду и единственному числу. Указанная предрасположенность *кто* находит подтверждение в единственном числе и (в прошедшем времени) мужском роде согласующегося с ним сказуемого даже в случаях очевидных грамматических противоречий. Например, *Кто пришел — Вера или Маиша?* Здесь грамматике соответствовала бы форма женского рода сказуемого — *пришла*. Именно она и напрашивается, и очень не нравится в *Кто из спортсменок к финишу пришла первой?* (пример, рекомендуемый в [Бельчиков 2008: 256] в качестве допустимого), так как здесь, в отличие от *Кто из спортсменок победила?* (и уж никак не *победила**), особенно сильно сказывается податливость рода слова *первая*. Однако в узусе такие грамматически некомфортные конструкции обычно заменяются синонимичными комфортными, например *Какая / Которая из спортсменок к финишу пришла первой?* или *Какая спортсменка к финишу пришла первой?* «Числовой» пример: *Кто пел / поет — эти двое или те пятеро?* Здесь грамматически требуется форма множественного числа сказуемого — *пели/поют*. Тем не менее в приведенных примерах число сказуемого вариантов не предполагает: сказуемое всегда стоит в единственном числе, задаваемом нацеленным на единичность местоимением *кто*. В конструкциях же *все, кто работает — все, кто работают* и *те, кто работает — те, кто работают* вариативность числа сказуемого обнаруживается. Однако для первой из этих пар вариантов можно констатировать большую ее вариативность в прошлом (при этом ед. и мн. ч. сказуемого встречаются у одних и тех же авторов, например Василия Гроссмана и Александра Солженицына, в одних и тех же контекстах — см. НКРЯ) и постепенное уменьшение вариативности ближе к настоящему времени.

Обращает на себя внимание тот факт, что элементы *все* и *те* объединяет понятие множественности, которое, в свою очередь, позволяет нам привлечь к изучению затронутой здесь проблемы понятие кванторности, в соответствии с которым сущности можно рассматривать в виде множеств — шкал значений. Как известно, логические кванторы делятся на два вида: кванторы общности (различные значения шкалы между крайними полюсами *всё — ничего*) и кванторы существования (различные скалярные значения между крайними полюсами *есть — нет*). Констатируем, что среди рассматриваемых здесь элементов контекстов присутствует квантор общности — *все*, замыкающий шкалу общности в верхнем значении. Что касается *те*, то оно не кванторно, а указательно: указывает на определенное множество на шкале.

Если, как было отмечено выше, местоимение *кто* семантически предрасположено к единственному числу и в подавляющем большинстве случаев в построениях *все + кто + сказуемое* обуславливает ед. ч. сказуемого, нам остается только сделать грамматически парадоксальный вывод: в качестве аргумента для семантического взаимодействия с квантором *все* местоимение *кто* «видит» в семантике такого квантора не множественность, а единичность. Дело в том, что квантор *все* включает все точки шкалы, а значит, включает их не только «все вместе», но и «каждую в отдельности». Обратим внимание на семантическую сопоставимость кванторов *все* и *каждый*, несмотря на формально-грамматическое их различие в числе. По семантике результата они равны, но характеризуют одну и ту же шкалу общности с разных сторон. *Все* делает это снаружи, идя в направлении от общего к частному, а именно от общего целого шкалы к ее частным, точечным значениям. *Каждый* характеризует шкалу изнутри, но непременно идя в направлении от частного к общему, то есть от частных, точечных значений шкалы к ее общему целому, состоящему из таких точечных значений. Об этом свидетельствуют и встречающиеся в языке устойчивые и, при первом рассмотрении, семантически избыточные сочетания вроде *для всех и для каждого, все вместе и каждый в отдельности*, и возможность сочетаемости квантора *каждый* со связкой *кто + сказуемое: каждый, кто работает*. Семантическое различие между типами *все, кто работает — все, кто работают* и *каждый, кто работает* относительно тонко: оно состоит именно во взаимной, встречной направленности двух «векторов зрения» на одной шкале общности. Следовательно, семантически нацеленное на единичность *кто* «видит» квантор *все* дискретным — как множество однородных составляющих, относясь к каждой такой составляющей как к единице и этим мотивируя единственное число связанного с ним сказуемого.

Единственное стойкое исключение из этого правила составляют употребления субстантивированного прилагательного или обычного существительного в качестве сказуемого или именной его части, например *Все, кто другие, — езжайте к себе* (цитата из произведения Виктории Токаревой «Своя правда», взята из НКРЯ) или *Все, кто являются другими, — езжайте к себе; Все, кто друзья, — приезжайте в гости*. Это, как и в случае согласования кратких прилагательных с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (см. пункт 4.2), объясняется тем, что функция сказуемого не является главной функцией субстантивов, поэтому они не позволяют *кто* увидеть *все* состоящим из *каждый* и в присущей им манере согласования формально уподобляются имеющему мн. ч. субстантиву *все* (это АИВ).

Аналогичный вышеизложенному подход к вариантам типа *те, кто работает* — *те, кто работают* позволяет заметить следующее. Отмеченная нами ранее неканторность (указательность) *те* нейтрализует способность единичного *кто* «увидеть» *те* дискретным (состоящим из *каждый*). Способность *кто* «увидеть» *те* состоящим из *тот* не имеет в данном случае решающего значения, ведь указатель *тот* имеет иную скалярную характеристику, нежели соотносящийся с *все* кантор *каждый*. *Те* (через *тот*) указывает на шкале от двух до некоего множества точек, которое может быть сколь угодно близким к множеству, обозначаемому *все* (через *каждый*), но никогда с ним не совпадет, ибо *тех, кто* всегда меньше, чем *всех, кто*. Семантическая непарность *все* и *те* состоит и в том, что *тот* для *те* — грамматический коррелят, в то время как *каждый* для *все* — семантический (грамматический коррелят мужского рода единственного числа для *все* — *весь*).

Наблюдения над устной и письменной речью показывают, что в конструкции *те + кто + сказуемое* (с именительным падежом у *те*) во мн. ч. сказуемое встречается гораздо чаще, чем в конструкции *все + кто + сказуемое*. Очевидно, что согласование сказуемого во мн. ч. в данном случае обусловлено, с одной стороны, нейтрализацией единичной семантики *кто* неканторностью *те*, а с другой — формой им. п. (функцией подлежащего) у субстантива *те*. Этим же объясняется мн. ч. сказуемого в примерах типа *Последние, кто ушли, заперли двери клуба* (не имеющий объяснения пример из [Бельчиков 2008: 256]): *последние* — некантор. То есть при отступлении семантических факторов наблюдается укрепление факторов грамматических. Ед. ч. сказуемого в таких случаях (*те, кто работает*) логичнее объяснить влиянием структурно близкого типа *все + кто + сказуемое*, нежели активностью единичной семантики *кто*. Поскольку грамматические закономерности убедительнее формальных влияний, в конструкции *те + кто + сказуемое* (при прямом падеже у *те*) мн. ч. сказуемого выглядит предпочтительнее. В построениях же, где *те* имеет форму косвенного падежа, вариантов числа сказуемого не возникает — сказуемое всегда имеет форму ед. ч.: *тех, кто работает; тем, кто работает; теми, кто работает*. На наш взгляд, это объясняется отсутствием коррелирующего со сказуемым им. п. у *те* и более сильным влиянием частотной конструкции *все + кто + сказуемое*, поскольку формы *всех, всем, всеми* и *тех, тем, теми* имеют больше звуковых и графических совпадений, чем формы *все* и *те*. Таким образом, выбор числа сказуемого для *все, кто* обусловлен АИВ, а для *те, кто* — АДВ.

4.7. Согласование в роде с субстантивом, обозначающим профессию (должность, род занятий)

Достаточно долго господствовавшее, в том числе в русской истории, гендерное распределение социальных ролей привело к тому, что большинство названий лиц по профессии (должности, роду занятий) — существительные мужского рода. Грамматически логично согласовывать с ними глаголы и прилагательные в м. р.: *Пришел новый директор* (формы мн. ч., как нивелирующие родовые различия, например *Пришли новые директора*, мы не рассматриваем). Но со сравнительно недавним — эмансипированным — обретением мужских профессий (должностей, родов занятий) женщинами ситуация постепенно меняется: появляется АИВ. При этом сами названия-существительные показателей женского рода почти не используют: суффиксация часто дает значения, стилистически окрашенные не в пользу женщин: *директорша, врачиха*, — кроме случаев, когда профессия (должность, род занятий) является либо преимущественно, либо в значительной мере женской: *певица, учительница*. Однако в ж. р. начали употребляться прежде всего глаголы, разумеется в форме прош. вр. (*Пришла новый директор*), а затем и — консервативные в силу формальной близости к существительным — прилагательные, но — с двумя ограничениями.

Во-первых, с ограничением стилистическим: согласование прилагательного с такими существительными возможно только в разговорной речи: *Пришла новая директор*. Попытки преодолеть мужское оформление названий лиц по профессии (должности, роду занятий) деривационно-флексивным путем без стилистической сниженности (*новая директориса, уважаемая деканесса*) при всей комфортной непротиворечивости по роду пока (?) не привели к употреблению этих названий в научном и официально-деловом стилях [Граудина, Ицкович, Катлинская 2001:127–136]. Например, хорошо известно, что А.А. Ахматова не одобряла приращение к ней номинации *поэтесса*, считая себя *поэтом*.

Во-вторых, «прорыв» семантического согласования в область таких сочетаний не может охватить их употребления в косвенных падежах: ср. невозможность *видел новую врача**, *поздравлять уважаемую директора**. Это объясняется тем, что флексии таких падежей, в отличие от нулевой флексии существительных м. р. ед. ч. им. п., демонстрируют противоречие словоизменительных парадигм: достаточно разнообразной падежной парадигмы существительных м. р. ед. ч. и унифицированной падежной парадигмы прилагательных ж. р. ед. ч. По этой причине сочетание *уважаемая директор* выглядит не так противоречиво, как *уважаемой директора**, *уважаемой директору**, *уважаемой директором**, *уважаемой директоре**.

4.8. Согласование в числе атрибутива с однородными субстантивами и субстантива с однородными атрибутивами

Это императивные варианты согласования, находящиеся в стадии преобразования: в обоих указанных случаях наблюдается постепенное преодоление ПВ при АИВ, то есть носители языка прилагательное (причастие) или существительное начинают воспринимать как имеющее отношение более чем к одному соответственно характеризуемому предмету или характеризующему признаку. При чем такой прогресс восприятия обнаруживается достаточно давно.

Так, М.В. Ломоносов фиксирует современное ему (середины XVIII века) употребление: «Соединенные существительные имена требуют имен прилагательных, местоимений и причастий множественных: *Касторъ и Полуксъ, рожденные от Леды; любезные мои Цицерон и Вергилий*. Однако нередко единственное число с ближним существительным согласно склоняется: *мой отецъ и мать; брат и сестра моя*» [Ломоносов 1952: 554].

Ф.И. Буслаев считает, что *Белое и Черное море* — «приличнее речи разговорной и безыскусственной; — во множественном же, по большей части, принадлежит языку книжному, более обдуманному. ... Если одно определительное стоит при двух или нескольких определяемых, то, по большей части, согласуется в роде и числе с ближайшим; напр. *«русский ум и сердце», «русское сердце и ум*». Иногда полагается и во множественном при определяемых ед. ч.; напр. *«старшие сын и дочь»*» [Буслаев 1959: 450]. Такого же мнения придерживается В.И. Чернышев [Чернышев 1970¹: 591–592].

А.А. Шахматов приводит примеры из романа Л.Н. Толстого «Война и мир», свидетельствующие о полном согласовании в числе в обеих комбинациях: *скотный и конный дворы; Рязанскую, Тульскую и Калужскую дороги; соблюдение степенности и медлительности, свойственных взрослым людям; приготовленные большая вилка и лопаточка* [Шахматов 1941: 304].

В последние полвека из одного ортологического пособия в другое «кочует» тургеневский пример *Дикий гусь и утка прилетели первыми* (ПВ). Известна история о заместителе министра культуры СССР, позвонившем на кафедру русского языка факультета журналистики МГУ, чтобы выяснить, правильно ли название журнала *«Советская эстрада и цирк»*, ведь с логической точки зрения *цирк* в этом сочетании — не советский. Чиновника успокоили не столько тургеневским примером *дикий гусь и утка*, сколько красноречивым партийным свидетельством: *«Советская*

печать, радио и телевидение» [Говорим по-русски... 2009]. У русистов имеется и свой «неловкий» пример: *русский язык и литература*.

Тургеневский пример о *диком гусе и утке* хрестоматиен. При его помощи сформулированная Д.Э. Розенталем установка — единственное число прилагательного возможно, если понятно, что оно относится к обоим существительным [Розенталь 1977: 220–221], — повторяется всеми последователями ученого [Солганик 2010: 202–203; Голуб 2007: 384–385; Бельчиков 2008: 273–274]. Но почему должно быть «понятно», что в данном примере утка тоже дикая? Потому что она прилетела так же, как гусь, то есть умеет летать? Но ничто не препятствует восприятию ее как домашней утки с необрезанными крыльями.

Д.Э. Розенталь, подтверждая идею языковой нормативности такого нелогичного согласования, ставит в пример читателям эмоциональную реакцию Д.Н. Овсянико-Куликовского (в книге «Руководство к изучению синтаксиса русского языка») на предложение *Я давно не видал моих брата и сестру*: «Это не по-русски и режет ухо» [Овсянико-Куликовский 1907: 29; Розенталь 1977: 220]. Однако жесткая позиция Д.Н. Овсянико-Куликовского выглядит крайне субъективной, поскольку по неясным для нас причинам не воспринимает или сознательно игнорирует мнения по этому поводу его предшественников, например М.В. Ломоносова и Ф.И. Буслаева, а также многих современных ему носителей языка, считающих нормальным грамматическое отражение в прилагательном количества определяемых им сущностей.

Так, современник Д.Н. Овсянико-Куликовского В.И. Чернышев в работе «Правильность и чистота русской речи. Опыт русской стилистической грамматики» (первое издание — 1909 года), процитировав то же эмоциональное высказывание Д.Н. Овсянико-Куликовского, мягко обращает внимание на то, что в таких случаях «и множественное число иногда необходимо по смыслу речи: «Со мной ехали *богатые* купец и помещик»; «У меня есть *ленивые* ученик и ученица». Здесь форма единственного числа не определила бы второго слова» [Чернышев 1970¹: 591–592].

Другой известнейший современник Д.Н. Овсянико-Куликовского А.А. Шахматов в вышедшем в 1925 и 1927 годах «Синтаксисе русского языка» примерами из Л.Н. Толстого (см. выше) опроверг максимализм Д.Н. Овсянико-Куликовского.

Поэтому непонятно, почему основанный на поверхностном восприятии (с ориентацией на ближайший объект — согласно перцептивному закону близости) императив Д.Н. Овсянико-Куликовского Д.Э. Розенталем был воспринят, а опирающиеся на живые примеры противоположные

мнения М.В. Ломоносова, Ф.И. Буслаева, В.И. Чернышева и А.А. Шахматова — нет. По мнению Д.Э. Розенталя, «из двух вариантов: *Мой отец с матерью* приехали сюда и *Мои отец с матерью* приехали сюда предпочтительнее первый» [Розенталь 1977: 220] (сочетания им. п. и тв. п. общности мы считаем «однородными субстантивами» только в значении «семантической однородности», то есть того, что Д.Э. Розенталь называет «равноправием» — см. пункт 4.5). По какой причине первый вариант предпочтительнее — автор не объясняет. Примеры НКРЯ показывают, что современные носители языка не руководствуются рекомендацией Д.Э. Розенталя в отношении употреблений *мой отец с матерью* при равном социальном статусе родителей или указанием правильности конструкции *мой брат и сестра* от Д.Н. Овсянико-Куликовского.

Поскольку нелогичность наблюдается только в случае препозиции прилагательного или глагола к определяем существительным и чаще в речи устной, то есть неподготовленной, логично заключить, что в этих случаях, как и в случае сочетания однородных подлежащих с препозитивным сказуемым (см. выше), говорящий фиксирует свое внимание на ближайшем существительном (ПВ) лишь потому, что не замечает второе существительное, следующее за ближайшим (объяснение этого явления, отчасти опирающееся на данные, приведенные в главах 1–3, — см. в [Попов 2012¹]).

Изучение узуальных примеров позволяет заметить, что «близорукое препозитивное согласование в числе» (ПВ) уже преодолевают прилагательные качественные: употребления типа *испуганные гусь и утка*, *замечательные эстрада и цирк* встречаются чаще включающих прилагательное в ед. ч. в таких случаях. Наибольший консерватизм обнаруживают прилагательные относительные, по своей природе «указательные», то есть менее абстрактные, чем прилагательные качественные. Тем не менее, как замечает В.В. Виноградов, «грамматическая граница между качественными и относительными прилагательными очень подвижна и условна» [Виноградов 1986: 175]: развивая качественные значения, относительные прилагательные становятся более абстрактными. Кроме того, весьма показательны примеры НКРЯ, демонстрирующие избегание нелогичности конструкций с препозитивным относительным прилагательным — пусть даже ценой громоздкости конструкции: *русский язык и русская литература* (во всех случаях наблюдается АИВ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом в отношении древнерусского синтаксиса исследователи констатируют его прогресс, неуклонное движение в сторону более точного выражения мысли. Можно согласиться с утверждениями Ф.И. Буслаева XIX века как с констатациями перманентной тенденции: «С успехами народного мышления ... синтаксис ... подчиняется отвлеченным категориям логики» [Буслаев 1850: 45]; «Подчиняясь общим законам логики, язык в позднейшем периоде своего развития стремится подвести под общие правила разнообразное употребление слов старинной и народной речи» [Буслаев 1959: 268]. Данные выводы согласуются с мнением Е.С. Кубряковой о том, что «процесс создания языка не исчерпывается ответной его перестройкой в связи с материальным или техническим прогрессом общества, — он предполагает также необходимость усовершенствования языковой техники и включает устранение противоречий, или даже дефектов, существующих в организации конкретных языков» [Кубрякова 1970: 198].

В ходе предпринятого исследования были обнаружены две линии показательных соответствий. Во-первых, это практически полные корреляции уровней развития восприятия, логического мышления и грамматической способности у современного цивилизованного двухлетнего ребенка и антропоида, у современного цивилизованного ребенка младше 12 лет и первобытного взрослого, а также сопоставимого с ним по этим показателям древнего цивилизованного взрослого. Во-вторых, это частичные, но существенные корреляции указанного развития у взрослого антропоида, у современного цивилизованного ребенка — еще не подростка, у первобытного, в том числе древнего цивилизованного, взрослого, с одной стороны, и у современного цивилизованного взрослого — с другой.

Основными проблемами логического мышления, усвоения и развития грамматики являются синкретизм и поверхностность восприятия. Само по себе мышление человека не может быть нелогичным: любая воспринимаемая другими людьми нелогичность всегда относительна, поскольку объясняется недостатками восприятия, наблюдаемыми у проявившего нелогичность, с точки зрения которого — при синкретичном или поверхностном восприятии им нюансов — его умозаключения абсолютно логичны. Синкретизм и поверхностность восприятия как постоянно преодолеваемые в процессе познания, но заложенные биологически человеческие недостатки не могут не проявляться в коммуникативной системе человека — языке, что особенно заметно в его медленно меняющемся грамматическом строе при диахроническом его изучении.

Мы имели возможность убедиться в том, что об эволюции форм синтаксического согласования в русском языке можно говорить с полным на то основанием. Рассмотренные в работе сведения о восприятии и логическом мышлении ребенка (антропоида), первобытного (древнего) человека и человека современного цивилизованного доказывают, что присущие человеческому познанию синкретизм и поверхностность восприятия — при наличии способствующих общекультурному прогрессу социально-средовых и биологических условий — постепенно, но успешно преодолевается при восприятии, категоризирующем альтернативы императивно (АИВ) или диспозитивно (АДВ), что не может не отражаться на языке, в особенности — на предрасположенных по своему статусу к большей изменчивости, нежели установки управления, формах синтаксического согласования.

Сформулированные нами выводы вовсе не означают возврата к идее тотального логицизма в языкознании, как может показаться на первый (поверхностный) взгляд. О былом искусственном приписывании естественным языкам логических категорий речь не идет: такой максимализм — детская болезнь языкознания. В полном соответствии с идеями когнитивной лингвистики мы говорим лишь о том, что за логическим прогрессом в сфере русского синтаксического согласования, а возможно и русской грамматики в целом, стоит логический прогресс мышления, которое не может не опираться на восприятие, устремленное к *alternatio*.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абаев 1993 — Абаев В.И. О происхождении языка / В.И. Абаев // Язык в океане языков (сост. О.А. Донских). — Новосибирск: Сибирский хронограф, 1993. — С. 12–19.
2. Ананьев, Дворяшина, Кудрявцева 1968 — Ананьев Б.Г. Индивидуальное развитие человека и константность восприятия / Б.Г. Ананьев, М.Д. Дворяшина, Н.А. Кудрявцева. — М.: Просвещение, 1968. — 335 с.
3. Антонович 1887 — Антонович В.Б. Колдовство. — Процессы. — Исследование / Владимир Бонифатьевич Антонович. — Пб.: В. Киршбаум, 1877. — 139 с.
4. Апресян 1966 — Апресян Ю.Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики (краткий очерк) / Юрий Дереникович Апресян. — М.: Просвещение, 1966. — 305 с.
5. Апресян 1974 — Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка / Юрий Дереникович Апресян. — М.: Наука, 1974. — 367 с.
6. Арно, Николь 1991 — Арно А. Логика, или Искусство мыслить, где помимо обычных правил содержатся некоторые новые соображения, полезные для развития способности суждения / [пер. с фр.] / А. Арно, П. Николь. — М.: Наука, 1991. — 416 с.
7. Ахапкина 2010 — Ахапкина Я.Э. Мотивация при выборе речевых средств для выражения кодируемого смысла: порождающая и корректирующая стратегии / Я.Э. Ахапкина // Избыточность в грамматическом строе языка / [отв. ред. М.Д. Воейкова]. — СПб.: Наука, 2010. — С. 242–257.
8. Бабель 1989 — Бабель И.Э. Пробуждение / И.Э. Бабель // Бабель И.Э. Конармия. Избранные произведения / [послесл. В. Звенияцкого; илл. Г. Гармидера]. — К.: Дніпро, 1989. — С. 228–234.
9. Балли 1955 — Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Шарль Балли / [пер. с 3-го фр. изд. Е.В. и Т.В. Вентцель; Ред., вступ. ст. и прим. Р.А. Будагова]. — М.: Изд-во иностранной литературы, 1955. — 416 с.
10. Барулин 2008 — Барулин А.Н. К аргументации полигенеза / А.Н. Барулин // Разумное поведение и язык. Вып. 1. Коммуникативные системы животных и язык человека. Проблема происхождения языка / [сост. А.Д. Кошелев, Т.В. Черниговская]. — М.: Языки славянских культур, 2008. — С. 41–58.
11. Бауэр 1985 — Бауэр Т. Психическое развитие младенца / Томас Бауэр / [пер. с англ.; Под общ. рук. А.Б. Леонова; Под общ. ред. А.В. Запорожца и Б.М. Величковского]. — [2-е изд.]. — М.: Прогресс, 1985. — 320 с.: ил.
12. Бельчиков 2008 — Бельчиков Ю.А. Практическая стилистика современного русского языка / Юлий Абрамович Бельчиков. — М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2008. — 424 с.
13. Берк 2006 — Берк Л.Е. Развитие ребенка / Лаура Е. Берк. — [пер. с англ. А. Богачев, Е. Виноградова, А. Ершова и др.]. — [6-е изд.]. — СПб.: Питер, 2006. — 1056 с.: ил. — (Мастера психологии).
14. Би 2004 — Би Х. Развитие ребенка / Хелен Би / [пер. с англ. А. Ершова, Н. Зуева]. — [9-е изд.]. — СПб.: Питер, 2004. — 767 с.: ил. — (Мастера психологии).
15. Бичакджан 2008 — Бичакджан Б. Эволюция языка: демоны, опасности и тщательная оценка / Б. Бичакджан // Разумное поведение и язык. Вып. 1. Коммуникативные системы животных и язык человека. Проблема происхождения языка / [сост. А.Д. Кошелев, Т.В. Черниговская]. — М.: Языки славянских культур, 2008. — С. 41–58.

16. Блонский 1964 — Блонский П.П. Развитие мышления школьника / П.П. Блонский // Блонский П.П. Избранные психологические произведения. — М.: Просвещение, 1964. — С. 141–283.
17. Боас 1965 — Боас Ф. Введение к «Руководству по языкам американских индейцев» (Извлечения) / Ф. Боас // Звегинцев В.А. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. — [3-е изд., доп.]. — Ч. II. — М.: Просвещение, 1965. — С. 170–180.
18. Боас 1926 — Боас Ф. Ум первобытного человека / Франц Боас / [пер. с англ. А.М. Водена]. — М.-Л.: Госиздат, 1926. — 153 с.
19. Богородицкий 1964 — Богородицкий В.А. Наука о языке и ее положение в кругу историко-культурных наук. Общая характеристика природы языка. Вопросы чистого и прикладного языковедения / В.А. Богородицкий // Звегинцев В.А. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. — [3-е изд., доп.]. — Ч. I. — М.: Просвещение, 1964. — С. 295–300.
20. Богородицкий 2004 — Богородицкий В.А. Этюды по психологии речи / В.А. Богородицкий // Богородицкий В.А. Очерки по языковедению и русскому языку. — [5-е изд., стереотип.]. — М.: Едиториал УРСС, 2004. — С. 146–157.
21. Божович 1995 — Божович Л.И. Проблема развития мотивационной сферы ребенка / Л.И. Божович // Божович Л.И. Избранные психологические труды, проблемы формирования личности: Под ред. Д.И. Фельдштейна / [вступ. статья Д.И. Фельдштейна]. — М.: Международная педагогическая академия, 1995. — С. 20–55.
22. Бопп 1964 — Бопп Ф. Сравнительная грамматика санскрита, зенда, армянского, греческого, латинского, литовского, старославянского, готского и немецкого (Извлечения) / Ф. Бопп // Звегинцев В.А. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. — [3-е изд., доп.]. — Ч. I. — М.: Просвещение, 1964. — С. 33–39.
23. Борковский 1965 — Борковский В.И. Историческая грамматика русского языка / В.И. Борковский, П.С. Кузнецов. — [2-е изд., доп.]. — М.: Наука, 1965. — 554 с.
24. Брагина, Доброхотова 1981 — Брагина Н.Н. Функциональные асимметрии человека / Н.Н. Брагина, Т.А. Доброхотова. — М.: Медицина, 1981. — 288 с., ил.
25. Брунер 1977 — Брунер Дж. Психология познания. За пределами непосредственной информации / Джером Брунер / [пер. с англ. К.И. Бабицкого]. — М.: Прогресс, 1977. — 413 с.
26. Булаховский 1958 — Булаховский Л.А. Исторический комментарий к русскому литературному языку / Л.А. Булаховский. — [5-е изд., доп. и перераб.]. — К.: Учпедгиз, 1958. — 488 с.
27. Бурас, Кронгауз 2011 — Бурас М. Жизнь и судьба гипотезы лингвистической относительности [электронный ресурс] / М. Бурас, М. Кронгауз // Наука и жизнь. — 2011. — № 8. — Режим доступа: <http://elementy.ru/lib/431410>.
28. Бурлак 2011 — Бурлак С. Происхождение языка: Факты, исследования, гипотезы / Светлана Бурлак. М.: Астрель CORPUS, 2011. — 464 с.
29. Бурова 1987 — Бурова И.Н. Развитие проблемы бесконечности в истории науки: На материалах истории философии и математики / Ирина Николаевна Бурова. — М.: Наука, 1987. — 131 с.
30. Буслаев 1959 — Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка / Федор Иванович Буслаев. — М.: Госуд. учебно-педагогическое изд-во министерства просвещения РСФСР, 1959. — 623 с.
31. Буслаев 1850 — Буслаев Ф.И. Рецензия на «Мысли об истории русского языка» И.И. Срезневского / Ф.И. Буслаев // Отечественные записки. — СПб, 1850. — Т. LXXII. — Октябрь. — Отд. V. — С. 31–58.

32. БЭС 2002 — Большой энциклопедический словарь. — [2-е изд., перераб. и доп.]. — М.: Большая Российская энциклопедия; СПб: Норинт, 2002. — 1456 с.: ил.
33. Валгина 2003 — Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке: Учебное пособие для студентов вузов / Нина Сергеевна Валгина. — М.: Логос, 2003. — 304 с.
34. Валлон 1967 — Валлон А. Психическое развитие ребенка / Анри Валлон. — М.: Просвещение, 1967. — 196 с.
35. Вандриес 1964 — Вандриес Ж. Язык (Извлечения) / Ж. Вандриес // Звегинцев В.А. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. — [3-е изд., доп.]. — Ч. I. — М.: Просвещение, 1964. — С. 440–458.
36. Величковский Т. 1, 2006 — Величковский Б.М. Когнитивная наука: Основы психологии познания: В 2 т. / Борис Митрофанович Величковский. — Т. 1. — М.: Смысл: Издательский центр «Академия», 2006. — 448 с.
37. Величковский Т. 2, 2006 — Величковский Б.М. Когнитивная наука: Основы психологии познания: В 2 т. / Борис Митрофанович Величковский. — Т. 2. — М.: Смысл: Издательский центр «Академия», 2006. — 432 с.
38. Верба 1990 — Верба Н.К. Папуасские языки / Н.К. Верба // Лингвистический энциклопедический словарь / [гл. ред. В.Н. Ярцева]. — М.: Сов. Энциклопедия, 1990. — С. 365–366.
39. Виноградов 1975 — Виноградов В.В. О формах слова / В.В. Виноградов // Виноградов В.В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. — М.: Наука, 1975. — С. 33–50.
40. Виноградов 1964 — Виноградов В.В. Проблемы культуры речи и некоторые задачи русского языкознания / В.В. Виноградов // Вопросы языкознания. — 1964. — № 3. — С. 3–18.
41. Виноградов 1986 — Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове): Учебное пособие для вузов / Виктор Владимирович Виноградов / [отв. ред. Г.А. Золотова]. — [3-е изд., испр.]. — М.: Высш. шк., 1986. — 640 с.
42. Вишняцкий 2004 — Вишняцкий Л.Б. Человек в лабиринте эволюции / Леонид Борисович Вишняцкий. — М.: Весь Мир, 2004. — 156 с.
43. Вундт 2002 — Вундт В. Проблемы психологии народов / В. Вундт // Вундт В. Психология народов / [сост. К. Королев]. — М.: Изд-во Эксмо; СПб: Terra Fantastica, 2002. — С. 9–116.
44. Выготский 1991 — Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психол. очерк: Кн. для учителя / Лев Семенович Выготский. — [3-е изд.]. — М.: Просвещение, 1991. — 93 с.
45. Выготский 2005 — Выготский Л.С. Мышление и речь / Лев Семенович Выготский. — М.: Лабиринт, 2005. — 352 с., ил.
46. Выготский 1984 — Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т. 4. Детская психология / Лев Семенович Выготский / [под ред. Д.Б. Эльконина]. — М.: Педагогика, 1984. — 432 с., ил.
47. Выготский, Лурия 1993 — Выготский Л.С. Этюды по истории поведения: Обезьяна. Примитив. Ребенок / Л.С. Выготский, А.Р. Лурия. — М.: Педагогика-Пресс, 1993. — 224 с., ил.
48. Гамкрелидзе, Иванов Вяч.Вс. 1984 — Гамкрелидзе Т.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы: Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры / Т.В. Гамкрелидзе, Вяч.Вс. Иванов / [предисл. Р.О. Якобсона]. — Тбилиси: Изд-во Тбил. ун-та, 1984. — 1330 с.

49. Гао Мин 1989 — Гао Мин. О насечках на керамике и об истоках китайской иероглифической письменности / Мин Гао // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXII. Языкознание в Китае. — М.: Прогресс, 1989. — С. 299–333.
50. Гаспаров 1996 — Гаспаров Б.М. Язык. Память. Образ. Лингвистика языкового существования / Борис Михайлович Гаспаров. — М.: Новое литературное обозрение, 1996. — 352 с.
51. Гвоздев 1961 — Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи / Александр Николаевич Гвоздев. — М.: Изд-во Академии педагогических наук РСФСР, 1961. — 470 с.
52. Гвоздев Ч. 1, 1949 — Гвоздев А.Н. Формирование у ребенка грамматического строя русского языка. Часть первая / Александр Николаевич Гвоздев. — М.: Изд-во Академии педагогических наук РСФСР, 1949. — 268 с.
53. Гвоздев Ч. 2, 1949 — Гвоздев А.Н. Формирование у ребенка грамматического строя русского языка. Часть вторая / Александр Николаевич Гвоздев. — М.: Изд-во Академии педагогических наук РСФСР, 1949. — 192 с.
54. Гегель 1970 — Гегель Г.В.Ф. Наука логики: в 3 т.: Т. I. / Георг Вильгельм Фридрих Гегель / [отв. ред., предисл. М.М. Розенталя]. — М.: Мысль, 1970. — 501 с.
55. Говорим по-русски... 2009 — Говорим по-русски. Передача-игра: Нормативные словари и норма: как нам со всем этим быть? [электронный ресурс] / **стенограмма** от 06.09.2009 г., радио «Эхо Москвы». — Режим доступа: <http://www.echo.msk.ru/programs/speakrus/617358-echo/>.
56. Голуб 2007 — Голуб И.Б. Стилистика русского языка / Ирина Борисовна Голуб. — [8-е изд.]. — М.: Айрис-пресс, 2007. — 448 с.
57. Горан 1990 — Горан В.П. Древнегреческая мифологема судьбы / Василий Павлович Горан. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990. — 335 с.
58. Горбачевич 1989 — Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка / Кирилл Сергеевич Горбачевич. — [3-е изд., испр.]. — М.: Просвещение, 1989. — 208 с.
59. Граудина, Ицкович, Катлинская 2001 — Граудина Л.К. Грамматическая правильность русской речи. Стилистический словарь вариантов. / Л.К. Граудина, В.А. Ицкович, Л.П. Катлинская. — [2-е изд., испр. и доп.]. — М: Наука, 2001. — 557 с.
60. Граудина 1996 — Граудина Л.К. ЭВМ и культура речи: итоги и перспективное планирование / Л.К. Граудина // Культура русской речи и эффективность общения / [отв. ред. Л.К. Граудина, Е.Н. Ширяев]. — М., 1996. — С. 397–415.
61. Грегори 1970 — Грегори Р.Л. Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия / Ричард Лэнгтон Грегори / [пер. с англ. Е.Д. Хомской]. — М.: Прогресс, 1970. — 272 с.
62. Грегори 1972 — Грегори Р.Л. Разумный глаз / Ричард Лэнгтон Грегори / [пер. с англ. и предисл. д-ра мед. наук А.И. Когана]. — М.: Мир, 1972. — 210 с.
63. Grimm 1964 — Grimm Я. О происхождении языка (Извлечения) / Я. Grimm // Звегинцев В.А. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. — [3-е изд., доп.]. — Ч. I. — М.: Просвещение, 1964. — С. 57–68.
64. Гринберг 2004 — Гринберг Дж. Антропологическая лингвистика: Вводный курс / Джозеф Гринберг / [пер. с англ.]. — М.: Едиториал УРСС, 2004. — 224 с.
65. Гринкова 1948 — Гринкова Н.П. Некоторые случаи повторения предлогов в кировских диалектах / Н.П. Гринкова // Язык и мышление / [отв. ред. И.И. Мещанинов]. — XI. — М.-Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1948. — С. 91–103.
66. Гумилев 2004 — Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли / Лев Николаевич Гумилев. — М.: Айрис-пресс, 2004. — 560 с.: ил.

67. Давыдов 1972 — Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении (логико-психологические проблемы построения учебных предметов) / Василий Васильевич Давыдов. — М.: Педагогика, 1972. — 424 с.
68. Давыдов 2004 — Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Василий Васильевич Давыдов. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 288 с.
69. Деглин 1996 — Деглин В.Л. Лекции о функциональной асимметрии мозга человека / Вадим Львович Деглин. — Амстердам-Киев: Женевская инициатива в психиатрии, Ассоциация психиатров Украины, 1996. — 151 с.
70. Есперсен 2002 — Есперсен О. Философия грамматики / Отго Есперсен / [пер. с англ.; Общ. ред. и предисловие Б.А. Ильиша]. — 2-е изд., стереотипное. — М.: Едиториал УРСС, 2002. — 408 с.
71. Жинкин 1958 — Жинкин Н.И. Механизмы речи / Николай Иванович Жинкин. — М.: Изд-во академии пед. наук РСФСР, 1958. — 370 с.: ил., 48 л. табл.
72. Запорожец 1986 — Запорожец А.В. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т. 1. Психическое развитие ребенка / Александр Владимирович Запорожец. — М.: Педагогика, 1986. — 320 с.
73. Звегинцев 1954 — Звегинцев В.А. Внутренние законы развития языка / Владимир Андреевич Звегинцев. — М.: Изд-во МГУ, 1954. — 31 с.
74. Зельдович 2005 — Зельдович Г.М. Русское предикативное имя: согласованная форма, творительный падеж / Г.М. Зельдович // Вопросы языкознания. — 2005. — № 4. — С. 21–38.
75. Зинченко 1987 — Зинченко В.П. Вступительная статья / В.П. Зинченко // Вергеймер М. Продуктивное мышление / [пер. с англ.; Общ. ред. С.Ф. Горбова и В.П. Зинченко; Вступ. ст. В.П. Зинченко]. — М.: Прогресс, 1987. — С. 4–25.
76. Зинченко, Вергилес 1969 — Зинченко В.П. Формирование зрительного образа / В.П. Зинченко, Н.Ю. Вергилес. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969. — 106 с.
77. Зинченко 2008 — Зинченко В.П. Шепот ранних губ, или Что предшествует эксплозии детского языка / В.П. Зинченко // Разумное поведение и язык. Вып. 1. Коммуникативные системы животных и язык человека. Проблема происхождения языка / [сост. А.Д. Кошелев, Т.В. Черниговская]. — М.: Языки славянских культур, 2008. — С. 101–134.
78. Зорина 2008 — Зорина З.А. Возможность диалога между человеком и человекообразной обезьяной: обзор экспериментальных исследований / З.А. Зорина // Разумное поведение и язык. Вып. 1. Коммуникативные системы животных и язык человека. Проблема происхождения языка / [сост. А.Д. Кошелев, Т.В. Черниговская]. — М.: Языки славянских культур, 2008. — С. 135–172.
79. Зорина, Смирнова 2006 — Зорина З.А. О чем рассказали «говорящие» обезьяны: Способны ли высшие животные оперировать символами? / З.А. Зорина, А.А. Смирнова / [науч. ред. д. биол. н. И.И. Полетаева; Предисл. А.Д. Кошелева; Послел. Вяч.Вс. Иванова и А.Д. Кошелева]. — М.: Языки славянских культур, 2006. — 424 с.: ил. — (Studia Naturalia).
80. Иваницкий, Стрелец, Корсаков 1984 — Иваницкий А.М. Информационные процессы мозга и психическая деятельность / А.М. Иваницкий, В.Б. Стрелец, И.А. Корсаков. — М.: Наука, 1984. — 201 с.
81. Иванов 1983 — Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка: Учеб. для студентов филол. спец. фак. ун-тов и пед. ин-тов / Валерий Васильевич Иванов. — [2-е изд., испр. и доп.]. — М.: Просвещение, 1983. — 399 с., ил.

82. Иванов Вяч.Вс. 2004 — Иванов Вяч.Вс. Лингвистика третьего тысячелетия: Вопросы к будущему / Вячеслав Всеволодович Иванов. — М.: Языки славянской культуры, 2004. — 208 с., ил. — (Studia Philologica).
83. Иванов Вяч.Вс. 2008 — Иванов Вяч.Вс. Об эволюции переработки и передачи информации в сообществах людей и животных / Вяч.Вс. Иванов // Разумное поведение и язык. Вып. 1. Коммуникативные системы животных и язык человека. Проблема происхождения языка / [сост. А.Д. Кошелев, Т.В. Черниговская]. — М.: Языки славянских культур, 2008. — С. 173–191.
84. Иванов Вяч.Вс. 1978 — Иванов Вяч.Вс. Чет и нечет: Асимметрия мозга и знаковых систем / Вячеслав Всеволодович Иванов. — М.: Сов. радио, 1978. — 184 с., ил.
85. Ивин 2004 — Ивин А.А. Логика: Учебник / Александр Архипович Ивин. — М.: Гардарики, 2004. — 352 с.
86. Иллич-Свитыч 1984 — Иллич-Свитыч В.М. Опыт сравнения ностратических языков (семитохамитский, картвельский, индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский): Сравнительный словарь (р — q) / Владислав Маркович Иллич-Свитыч. — М.: Наука, 1984. — 136 с.
87. Ильюченко и др. 1989 — Взаимодействие полушарий мозга у человека: Установка, обработка информации, память / [Р.Ю. Ильюченко, А.Л. Финкельберг, И.Р. Ильюченко, Л.И. Афтанас] — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1989. — 169 с.
88. Историческая грамматика... 1978 — Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Простое предложение / [под ред. В.И. Борковского]. — М.: Наука, 1978. — 448 с.
89. История математики... 1970 — История математики с древнейших времен до начала XIX столетия / [под ред. А.П. Юшкевича]: в 3 т. — Т. 1. С древнейших времен до начала нового времени. — М. Наука, 1970. — 352 с.
90. История философии 1957 — История философии / [под ред. М.А. Дынина]: в 6 т. — Т. 1. — М.: Изд-во АН СССР, 1957. — 718 с.
91. Катлинская 1977 — Катлинская Л.П. Принцип экономии и грамматические варианты (об одном аспекте нормализации) / Л.П. Катлинская // Языковая норма и статистика. — М.: Наука, 1977. — С. 173–188.
92. Кацнельсон 2001 — Кацнельсон С.Д. Категории языка и мышления: Из научного наследия / Соломон Давидович Кацнельсон. — М.: Языки славянской культуры, 2001. — 864 с., ил.
93. Келер 1998 — Келер В. Исследование интеллекта человекоподобных обезьян / В. Келер // Основные направления психологии в классических трудах. Гештальт-психология. В. Келер. Исследование интеллекта человекоподобных обезьян. К. Коффа. Основы психического развития. — М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. — С. 35–275.
94. Кибрик 2005 — Кибрик А.Е. Константы и переменные языка / Александр Евгеньевич Кибрик. — СПб.: Алетей, 2005 — 719 с.: ил.
95. Койре 1985 — Койре А. Очерки истории философской мысли: О влиянии философских концепций на развитие научных теорий / Александр Владимирович Койре. — М.: Прогресс, 1985. — 286 с.
96. Кольцова 1967 — Кольцова М.М. Физиологическое изучение явлений общения и абстракции / М.М. Кольцова // Язык и мышление. — М.: Наука, 1967. — С. 302–311.

97. Кондаков 1975 — Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник / Николай Иванович Кондаков. — [2-е изд., испр. и доп.]. — М.: Наука, 1975. — 720 с.
98. Коркунов 2010 — Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права / Николай Михайлович Коркунов / [сост., автор вступ. ст., коммент. А.Н. Медушевский]. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. — 520 с. — (Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала XX века).
99. Косериу 1963 — Косериу Э. Синхрония, диахрония и история / Э. Косериу // Новое в лингвистике. Вып. III. — М.: Изд-во иностранной литературы, 1963. — С. 143–343.
100. Коул 1997 — Коул М. Культурно-историческая психология: наука будущего / Майкл Коул / [пер. с англ.]. — М.: «Когито-Центр, Изд-во «Институт психологии РАН», 1997. — 432 с., илл., табл.
101. Коул, Скрибнер 1977 — Коул М. Культура и мышление: Психологический очерк / М. Коул; Скрибнер / [пер. с англ. П. Тульviste; Ред. и предисл. А.Р. Лурия]. — М.: Прогресс, 1977. — 264 с.
102. Кошелев 2008 — Кошелев А.Д. Об основных парадигмах изучения естественного языка в свете современных данных когнитивной психологии / А.Д. Кошелев // Вопросы языкознания. — 2008. — № 4. — С. 15–40.
103. Кошелев 2008¹ — Кошелев А.Д. О качественном отличии человека от антропоида / А.Д. Кошелев // Разумное поведение и язык. Вып. 1. Коммуникативные системы животных и язык человека. Проблема происхождения языка / [сост. А.Д. Кошелев, Т.В. Черниговская]. — М.: Языки славянских культур, 2008. — С. 193–230.
104. Крайг, Бокум 2007 — Крайг Г. Психология развития / Г. Крайг, Д. Бокум. — [пер. с англ. А. Маслов, О. Орешкина, А. Попов]. — [9-е изд.]. — СПб.: Питер, 2007. — 944 с.: ил. — (Мастера психологии).
105. Кронгауз 2009 — Кронгауз М. Русский язык на грани нервного срыва / Максим Кронгауз. — [2-е изд., стер.]. — М.: Знак, 2009. — 232 с.
106. Кубрякова 1987 — Кубрякова Е.С. Размышления об аналогии / Е.С. Кубрякова // Сущность, развитие и функции языка / [отв. ред. Г.В. Степанов]. — М.: Наука, 1987. — С. 43–51.
107. Кубрякова 1970 — Кубрякова Е.С. Язык как исторически развивающееся явление. Место вопроса о языковых изменениях в современной лингвистике / Е.С. Кубрякова // Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка / [отв. ред. Б.А. Серебренников]. — М.: Наука, 1970. — С. 197–206.
108. Кубрякова 1970¹ — Кубрякова Е.С. Язык как исторически развивающееся явление. О формах движения в языке и определении понятий языковых изменений / Е.С. Кубрякова // Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка / [отв. ред. Б.А. Серебренников]. — М.: Наука, 1970. — С. 206–211.
109. Кузнецов 1958 — Кузнецов П.С. У истоков русской грамматической мысли / Петр Саввич Кузнецов. — М.: Изд-во АН СССР, 1958. — 76 с.
110. Кулемзин 1991 — Кулемзин В.М. Традиционные верования народов Сибири / В.М. Кулемзин // Локальные и синкретические культуры. — М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. — С. 98–119.
111. Лайонз 1978 — Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику / Джон Лайонз / [пер. с англ., ред. и предисл. В.А. Звегинцева]. — М.: Прогресс, 1978. — 544 с.
112. Лайонз 2004 — Лайонз Дж. Язык и лингвистика. Вводный курс / Джон Лайонз / [пер. с англ. И.А. Муравьевой и Е.Г. Устиновой]. — М.: Едиториал УРСС, 2004. — 320 с.

113. Лакофф 2004 — Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка говорят нам о мышлении / Джордж Лакофф / [пер. с англ. И.Б. Шатуновского]. — М.: Языки славянской культуры, 2004. — 792 с. — (Язык. Семиотика. Культура).
114. Ларичев 1979 — Ларичев О.И. Наука и искусство принятия решений / Олег Иванович Ларичев. — М.: Наука, 1979. — 200 с.
115. Лебедева 2000 — Лебедева Л.Б. Семантика «ограничивающих» слов / Л.Б. Лебедева // Логический анализ языка. Языки пространств / [отв. ред.: Н.Д. Арутюнова, И.Б. Левонтина]. — М.: Языки русской культуры, 2000. — С. 93–97.
116. Леви-Брюль 1994 — Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении / Люсьен Леви-Брюль / [пер. с фр.]. — М.: Педагогика-Пресс, 1994. — 608 с.
117. Левин 2001 — Левин К. Регрессия, ретрогрессия и развитие / К. Левин // Левин К. Динамическая психология: Избранные труды. — М.: Смысл, 2001. — С. 271–302.
118. Леви-Стросс 1984 — Леви-Стросс К. Печальные тропики / Клод Леви-Стросс / [пер. с фр. Г.А. Матвеевой; Науч. консультант и авт. предисл. Л.А. Файнберг]. — М.: Мысль, 1984. — 220 с., ил., карт., 12 л. ил.
119. Лекции И.И. Срезневского... 1986 — Лекции И.И. Срезневского по истории русского языка в записи Н.Г. Чернышевского. История русского языка. Курс 1849–50 года. Составлял г. Чернышевский // Срезневский И.И. Русское слово: Избр. труды: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.» / [сост. Н.А. Кондрашов]. — М.: Просвещение, 1986. — С. 88–132.
120. Леонтьев А.А. 1963 — Леонтьев А.А. Возникновение и первоначальное развитие языка / Алексей Алексеевич Леонтьев. — М.: Изд-во Академии наук СССР, 1963. — 140 с.
121. Леонтьев А.А. 1984 — Леонтьев А.А. Мир человека и мир языка: Научно-худож. лит-ра / Алексей Алексеевич Леонтьев / [рис. Т. Лоскутовой]. — М.: Дет. лит., 1984. — 127 с., ил.
122. Леонтьев А.А. 1965 — Леонтьев А.А. Слово в речевой деятельности. Некоторые проблемы общей теории речевой деятельности / Алексей Алексеевич Леонтьев. — М.: Наука, 1965. — 245 с.
123. Леонтьев А.Н. 1975 — Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / Алексей Николаевич Леонтьев. — М.: Политиздат, 1975. — 304 с.
124. Леонтьев А.Н. 2005 — Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии / Алексей Николаевич Леонтьев. — М.: Смысл; КДУ, 2005. — 511 с.
125. Леонтьев А.Н. 1981 — Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики / Алексей Николаевич Леонтьев. — [4-е изд.]. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. — 584 с.
126. Лепская 1997 — Лепская Н.И. Язык ребенка (онтогенез речевой коммуникации) / Наталья Ильинична Лепская. — М.: Филол. фак. МГУ, 1997. — 151 с.
127. Ломоносов 1952 — Ломоносов М.В. Российская грамматика / М.В. Ломоносов // Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. — Т. 7. Труды по филологии 1739–1758 гг. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1952. — С. 389–578.
128. Ломтев 1956 — Ломтев Т.П. Очерки по историческому синтаксису русского языка / Тимофей Петрович Ломтев. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1956. — 596 с.
129. Лоренц 1984 — Лоренц К. Год серого гуся / Конрад Лоренц / [пер. с нем.; Фотографии С. и К. Калас]. — М.: Мир, 1984. — 191 с., ил.
130. Лосик 2001 — Лосик Г.В. Психологическая концепция моторной теории восприятия речи / Г.В. Лосик // Детская речь: психолингвистические исследования / [отв. ред. Т.Н. Ушакова, Н.В. Уфимцева]. — М.: ПЕР СЭС, 2001. — 9–21.

131. Лурия 1974 — Лурия А.Р. Об историческом развитии познавательных процессов: Экспериментально-психологическое исследование / Александр Романович Лурия. — М.: Наука, 1974. — 172 с.
132. Лурия 1998 — Лурия А.Р. Язык и сознание / Александр Романович Лурия. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. — 416 с.
133. Макашина 1982 — Макашина Т.С. Ильин день и Илья-пророк в народных представлениях и фольклоре восточных славян / Т.С. Макашина // Обряды и обрядовый фольклор. — М.: Наука, 1982. — С. 83–101.
134. Малявин 1991 — Малявин В.В. Традиционные верования и синкретические религии Китая / В.В. Малявин, П.М. Кожин // Локальные и синкретические культы. — М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. — С. 120–162.
135. Марков 2008 — Марков А.В. Чтобы стать людьми, обезьянам не хватает рабочей памяти [электронный ресурс] / А.В. Марков // Элементы большой науки / Новости науки. — 2008. — Режим доступа: elementy.ru/news/430954.
136. Мартине 1963 — Мартине А. Основы общей лингвистики / А. Мартине // Новое в лингвистике. Вып. III. — М.: Изд-во иностранной литературы, 1963. — С. 366–566.
137. Мейе 2002 — Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков / Антуан Мейе / [пер. с фр. Д. Кудрявского, перераб. и доп. по 7-му фр. изд-ю А. Сухотиным; Под ред. и с прим. Р. Шор; Вступ. ст. М. Сергиевского]. — М.: Едиториал УРСС, 2002. — 512 с.
138. Мид 1988 — Мид М. Культура и мир детства. Избранные произведения / Маргарет Мид / [пер. с англ. и коммент. Ю.А. Алексеева; Сост. и послесл. И.С. Кона]. — М.: Главред. вост. лит-ры изд-ва «Наука», 1988. — 429 с., ил.
139. Миклухо-Маклай 1940 — Миклухо-Маклай Н.Н. Путешествия / Николай Николаевич Миклухо-Маклай / [подготовили к печати И.Н. Винников и А.Б. Пиотровский]. — Т. I. — М.: Изд-во АН СССР, 1940. — 364 с. + VIII с. таблиц.
140. Миклухо-Маклай 1951 — Миклухо-Маклай Н.Н. Собрание сочинений: В 5-ти т. — Т. III. — Ч. 1. Статьи по антропологии и этнографии / Николай Николаевич Миклухо-Маклай. — М., Л.: Изд-во АН СССР, 1951. — 559 с.
141. Миклухо-Маклай 1990 — Миклухо-Маклай Н.Н. Собрание сочинений: В 6-ти т. — Т. I. Путешествия 1870–1874 гг. Дневники. Путевые заметки. Отчеты / Николай Николаевич Миклухо-Маклай. — М.: Наука, 1990. — 472 с.
142. Мириманов 1997 — Мириманов В.Б. Искусство и миф. Центральный образ картины мира / Виль Борисович Мириманов. — М.: Согласие, 1997. — 328 с.: ил.
143. Николаева 1990 — Николаева Т.М. Универсалии языковые / Т.М. Николаева // Лингвистический энциклопедический словарь / [гл. ред. В.Н. Ярцева]. — М.: Сов. Энциклопедия, 1990. — С. 535–536.
144. Николаенко 2005 — Николаенко Н.Н. Психология творчества: Учебное пособие / Николай Николаевич Николаенко / [под ред. Л.М. Шпицыной]. — СПб.: Речь, 2005. — 277 с.: илл.
145. Никольс 1985 — Никольс Дж. Падежные варианты предикативных имен и их отражение в русской грамматике / Дж. Никольс // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XV. Современная зарубежная русистика. — М.: Прогресс, 1985. — С. 342–387.
146. Ньюкомб 2003 — Ньюкомб Н. Развитие личности ребенка / Нора Ньюкомб. — [пер. с англ. В. Белоусов]. — [8-е изд.]. — СПб.: Питер, 2003. — 640 с.: ил. — (Мастера психологии).

147. Обнорский 1960 — Обнорский С.П. Правильности и неправильности современного русского литературного языка / С.П. Обнорский // Обнорский С.П. Избранные работы по русскому языку. — М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1960. — С. 253–272.
148. Обухова 1981 — Обухова Л.Ф. Концепция Жана Пиаже: за и против / Людмила Филипповна Обухова. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. — 191 с.
149. Общая психология... 2007 — Общая психология: в 7 т.: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / [под ред. Б.С. Братуся]. — Т. 2. Ощущение и восприятие / [А.Н. Гусев]. — М.: Издательский центр «Академия», 2007. — 416 с.
150. Овсяннико-Куликовский 1907 — Овсяннико-Куликовский Д.Н. Руководство к изучению синтаксиса русского языка / Дмитрий Николаевич Овсяннико-Куликовский. — М.: Тип. Сытина, 1907. — 237 с.
151. Пауль 1964 — Пауль Г. Принципы истории языка (Извлечения) / Г. Пауль // Звегинцев В.А. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. — [3-е изд., доп.]. — Ч. I. — М.: Просвещение, 1964. — С. 199–217.
152. Пешковский 1956 — Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении / Александр Матвеевич Пешковский. — [7-е изд-е]. — М.: Учпедгиз, 1956. — 512 с.
153. Пиаже 2004 — Пиаже Ж. Генетическая эпистемология / Жан Пиаже / [пер. с франц.]. — [5-е изд.] — СПб.: Питер, 2004. — 160 с.
154. Пиаже 1969 — Пиаже Ж. Психология интеллекта / Ж. Пиаже // Пиаже Ж. Избранные психологические труды. Психология интеллекта. Генезис числа у ребенка. Логика и психология / [пер. с франц.]. — М.: Просвещение, 1969. — С. 55–231.
155. Пиаже 1994 — Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / Жан Пиаже / [пер. с франц. и англ.; Сост., комм., ред. перевода Вал.А. Лукова, Вл.А. Лукова]. — М.: Педагогика-Пресс, 1994. — 528 с.
156. Пинкер 2004 — Пинкер С. Язык как инстинкт / Стивен Пинкер / [пер. с англ.; Общ. ред. В.Д. Мазо]. — М.: Едиториал УРСС, 2004. — 456 с.
157. Подгорецкая 1980 — Подгорецкая Н.А. Изучение приемов логического мышления у взрослых / Надежда Александровна Подгорецкая. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. — 150 с.
158. Покровская 1983 — Покровская Л.В. Земледельческая обрядность / Л.В. Покровская // Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы: Исторические корни и развитие обычаев. — М.: Наука, 1983. — С. 67–90.
159. Поливанов 1965 — Поливанов Е.Д. Историческое языкознание и языковая политика / Е.Д. Поливанов // Звегинцев В.А. История языкознания XIX — XX веков в очерках и извлечениях. — [3-е изд., доп.]. — Т. II. — М.: Просвещение, 1965. — С. 320–336.
160. Попов 2012 — Попов С.Л. Закономерности исторического развития вариантов согласования в русском языке / С.Л. Попов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. — № 1021, серія «Філологія», вип. 66. — Харків, 2012. — С. 166–171.
161. Попов 2012¹ — Попов С.Л. *Изучаются русский язык и литература: «грамматическая близорукость»* препозитивного согласования в числе прилагательного с однородными членами — существительными / С.Л. Попов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. — № 994, серія «Філологія», вип. 64. — Харків, 2012. — С. 66–71.
162. Попов 2005 — Попов С.Л. *О семантическом критерии выбора варианта при согласовании в числе сказуемого с подлежащим, выраженным количественно-имен-*

- ным сочетанием / С.Л. Попов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. — № 707, серія «Філологія», вип. 46. — Харків, 2005. — С. 10–13.
163. Попов 2008 — Попов С.Л. Проблема партитивности в современном русском языке: семантико-морфологический аспект / С.Л. Попов // *Русская филология. Украинский вестник: Республиканский научно-методический журнал*. — № 2 (36). — Харьков, 2008. — С. 23–27.
164. Попов 2010 — Попов С.Л. Русские паронимы и однокоренные синонимы: трудности интерпретации / С.Л. Попов // *Русская филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды*. — № 1–2 (42). — Харьков, 2010. — С. 12–17.
165. Попов 1995 — Попов С.Л. Семантика предела и способы ее выражения в русском языке: предельные показатели *совсем* и *совершенно*: Дис. ... канд. филол. наук / Сергей Леонидович Попов. — Харьков, 1995. — 176 с.
166. Попов 2011 — Попов С.Л. Стилистические характеристики фонетических и грамматических вариантов: тенденции кодификации / С.Л. Попов // *Вісник Дніпропетровського університету*. — № 11. — Т. 19. — 2011. — Серія «Мовознавство», вип. 17, т. 1. — С. 115–122.
167. Попов 2006 — Попов С.Л. Число сказуемого в вариантах типа *все, кто работает — все, кто работают* и *те, кто работает — те, кто работают*: семантический аспект / С.Л. Попов // *Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна*. — № 727, серія «Філологія», вип. 47. — Харків, 2006. — С. 44–47.
168. Потехня 1968 — Потехня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. III. Об изменении значения и заменах существительного / Александр Афанасьевич Потехня. — М.: Просвещение, 1968. — 552 с.
169. Потехня 1985 — Потехня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. IV. Вып. 1. Существительное. Прилагательное. Числительное. Местоимение. Член. Союз. Предлог. Для студентов филол. фак. пед. ин-тов / Александр Афанасьевич Потехня. — М.: Просвещение, 1985. — 319 с., ил.
170. Потехня 2007 — Потехня А.А. Мысль и язык / Александр Афанасьевич Потехня. — М.: Лабиринт, 2007. — 256 с.
171. Потехня 1865 — Потехня А.А. О доле и сродных с нею существах / Александр Афанасьевич Потехня. — М.: Типография В. Грачева, 1865. — 44 с.
172. Почепцов 1990 — Почепцов О.Г. Языковая ментальность: способ представления мира / О.Г. Почепцов // *Вопросы языкознания*. — 1990. — № 6. — С. 110–122.
173. Право на интеллект... — Право на интеллект у обезьян [электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.zoodrug.ru/topic2739.html>.
174. Пропп 1986 — Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки / Владимир Яковлевич Пропп. — [2-е изд.] — Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. — 368 с.
175. Психолингвистика... 2006 — Психолингвистика: Учебник для вузов / [под ред. Т.Н. Ушаковой]. — М.: ПЕР СЭ, 2006. — 416 с.
176. Ревуненкова 1992 — Ревуненкова Е.В. Миф — обряд — религия. Некоторые аспекты проблемы на материале народов Индонезии / Елена Владимировна Ревуненкова. — М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1992. — 216 с.: ил.
177. Резникова 2006 — Резникова Ж.И. Исследование орудийной деятельности как путь к интегральной оценке когнитивных возможностей животных / Ж.И. Резникова // *Журнал общей биологии*. — 2006. — Т. 67. — № 1. — С. 3–22.
178. Резникова 2008 — Резникова Ж.И. Современные подходы к изучению языкового поведения животных / Ж.И. Резникова // *Разумное поведение и язык*. Вып. 1.

- Коммуникативные системы животных и язык человека. Проблема происхождения языка / [сост. А.Д. Кошелев, Т.В. Черниговская]. — М.: Языки славянских культур, 2008. — С. 293–336.
179. Реформатский 2006 — Реформатский А.А. Введение в языковедение: Учебник для вузов / Александр Александрович Реформатский. — [5-е изд., испр.]. — М.: Аспект Пресс, 2006. — 536 с.
180. Рижский 1973 — Рижский И.С. Введение в круг словесности / И.С. Рижский // Хрестоматия по истории русского языкознания: Учеб. пособие для филол. специальностей ун-тов и пед. ин-тов / [под ред. Ф.П. Филина]. — М.: Высш. школа, 1973. — С. 37–39.
181. Розенталь 1977 — Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка / Дитмар Эльяшевич Розенталь. — [4-е изд., испр.]. — М.: Высшая школа, 1977. — 316 с.
182. Рубец 2009 — Рубец М.В. Влияние китайского языка на мышление и культуру его носителей / М.В. Рубец // История философии. — 2009. — № 14. — С. 111–122.
183. Рубинштейн 1973 — Рубинштейн С.Л. К психологии речи / С.Л. Рубинштейн // Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. — М.: Педагогика, 1973. — С. 116–131.
184. Русские сказки... 1971 — Русские сказки в ранних записях и публикациях (XVI–XVIII вв.) / [Н.В. Новиков]. — Л.: Наука, ЛО, 1971. — 288 с.
185. Сабиров — Сабиров Р.Т. Автохтонные верования и шаманизм в Монголии после 1990 года [электронный ресурс] / Рустам Тагирович Сабиров. — Режим доступа: http://www.legendtour.ru/rus/mongolia/text/buddhism_txt2.shtml.
186. Светлов 1991 — Светлов Г.Е. Традиционные верования Японии / Г.Е. Светлов // Локальные и синкретические культуры. — М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. — С. 189–217.
187. Сепир 1993 — Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи / Э. Сепир // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии / [пер. с англ.; Общ. ред. и вступ. ст. А.Е. Кибрика]. — М.: Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1993. — С. 26–203.
188. Сергиенко 2008 — Сергиенко Е.А. Когнитивное развитие довербального ребенка / Е.А. Сергиенко // Разумное поведение и язык. Вып. 1. Коммуникативные системы животных и язык человека. Проблема происхождения языка / Сост. А.Д. Кошелев, Т.В. Черниговская. — М.: Языки славянских культур, 2008. — С. 337–365.
189. Сергиенко 2006 — Сергиенко Е.А. Раннее когнитивное развитие: Новый взгляд / Елена Алексеевна Сергиенко. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2006. — 464 с.
190. Серебренников 1970 — Серебренников Б.А. К проблеме сущности языка / Б.А. Серебренников // Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка / [отв. ред. Б.А. Серебренников]. — М.: Наука, 1970. — С. 9–95.
191. Сеченов 1952 — Сеченов И.М. Впечатления и действительность / И.М. Сеченов // Сеченов И.М. Избранные произведения. — Т. 1. Физиология и психология. — М.: Изд-во АН СССР, 1952. — С. 448–464.
192. Сизова 2010 — Сизова О.Б. Значение избыточности грамматического маркирования для процессов порождения высказывания / О.Б. Сизова // Избыточность в грамматическом строе языка / [отв. ред. М.Д. Воейкова]. — СПб.: Наука, 2010. — С. 258–271.

193. Скворцов 1970 — Скворцов Л.И. Норма. Литературный язык. Культура речи / Л.И. Скворцов // Актуальные проблемы культуры речи. — М.: Наука, 1970. — С. 40–103.
194. Скворцов 1980 — Скворцов Л.И. Теоретические основы культуры речи / Лев Иванович Скворцов. — М.: Наука, 1980. — 352 с.
195. Словарь синонимов... 2003 — Словарь синонимов русского языка: В 2-х т. — Т. 2: О — Я / [ИЛИ РАН; Под ред. А.П. Евгеньевой]. — М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. — 856, [8] с.
196. Смоляк 1991 — Смоляк А.В. Шамаи: личность, функции, мировоззрение: (Народы Нижнего Амура) / Анна Васильевна Смоляк. — М.: Наука, 1991. — 280 с.: ил.
197. Солганик 2010 — Солганик Г.Я. Практическая стилистика русского языка: учеб. пособие для студ. филол. и жур. фак. высш. учеб. заведений / Григорий Яковлевич Солганик. — [4-е изд., стер.]. — М.: Издательский центр «Академия», 2010. — 304 с.
198. Соссюр 1977 — Соссюр Ф.де. Курс общей лингвистики / Ф.де Соссюр // Соссюр Ф.де. Труды по языкознанию / [пер. с фр. под ред. А.А. Холодовича]. — М.: Прогресс, 1977. — С. 31-273.
199. Спенсер 2007 — Спенсер Г. Личность и государство / Герберт Спенсер / [пер. с англ.]. — Челябинск: Социум, 2007. — 207 с.
200. Спенсер 2008 — Спенсер Г. Научные основания нравственности: Индукции этики. Этика индивидуальной жизни / Герберт Спенсер / [пер. с англ.; Прим. А. Федорова]. — [2-е изд.]. — М.: Изд-во ЛКИ, 2008. — 248 с.
201. Срезневский 1959 — Срезневский И.И. Мысли об истории русского языка / Измаил Иванович Срезневский. — М.: Учпедгиз, 1959. — 135 с.
202. Стеценко 1977 — Стеценко А.Н. Исторический синтаксис русского языка. Учеб. пособие для пед. ин-тов и филол. фак. ун-тов / Алексей Никитич Стеценко. — [2-е изд., испр. и доп.]. — М.: Высш. школа, 1977. — 352 с.
203. Стройк 1990 — Стройк Д.Я. Краткий очерк истории математики / Дирк Ян Стройк / [пер. с нем.]. — [5-е изд., испр.]. — М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990. — 256 с.
204. Стругацкий А., Стругацкий Б. 1992 — Стругацкий А., Стругацкий Б. Обитаемый остров. Мальши: Повести / Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. — М.: Текст, 1992. — 431 с.
205. Сумцов 1892 — Сумцов Н.Ф. Заговоры: библиографический указатель / Николай Федорович Сумцов. — 1892. — 18 с.
206. Сумцов 1891 — Сумцов Н.Ф. Колдуны, ведьмы и упыри: библиографический указатель / Николай Федорович Сумцов. — б. г.: б. и., 1891. — 50 с.
207. Сумцов 1896 — Сумцов Н.Ф. Личные обереги от сглаза / Николай Федорович Сумцов. — Х.: Тип. губ. правления, 1896. — 20 с.
208. Сумцов 1878 — Сумцов Н.Ф. Очерк истории колдовства в Западной Европе / Николай Федорович Сумцов. — Х.: Универ. тип., 1878. — 34 с.
209. Сумцов 1896¹ — Сумцов Н.Ф. Пожелания и проклятия (преимущественно мало-российские) / Николай Федорович Сумцов. — Х.: б. и., 1896 — 28 с.
210. Сэпир 1965 — Сэпир Э. Положение лингвистики как науки / Э. Сэпир // Звегинцев В.А. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. — [3-е изд., доп.]. — Ч. II. — М.: Просвещение, 1965. — С. 231–238.
211. Теория развития... 2009 — Теория развития: Дифференционно-интеграционная парадигма / [сост. Н.И. Чуприкова]. — М.: Языки славянских культур, 2009. — 224 с., ил. — (Разумное поведение и язык. Language and Reasoning).

212. Тимберлейк 1985 — Тимберлейк А. Инвариантность и синтаксические свойства вида в русском языке / А. Тимберлейк // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XV. Современная зарубежная русистика. — М.: Прогресс, 1985. — С. 261–285.
213. Толстые 1982 — Толстые Н.И. и С.М. Заметки по славянскому язычеству. 3. Первый гром в Полесье. 4. Защита от града в Полесье / Н.И. и С.М. Толстые // Обряды и обрядовый фольклор. — М.: Наука, 1982. — С. 49–83.
214. Томаселло 2011 — Томаселло М. Истоки человеческого общения / Майкл Томаселло / [пер. с англ. М.В. Фаликман, Е.В. Печенковой, М.В. Сенициной, Анны А. Кибрик, А.И. Карпухиной]. — М.: Языки славянских культур, 2011. — 328 с.
215. Тэйлор 1939 — Тэйлор Э. Первобытная культура / Эдуард Тэйлор. / [пер. с англ.; Ред., предисл. и прим. В.К. Никольского]. — М.: Госсocioэкономиздат, 1939. — 568 с.
216. Узнадзе 1966 — Узнадзе Д.Н. Выработка понятий в дошкольном возрасте / Д.Н. Узнадзе // Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. — М.: Наука, 1966. — С. 76–134.
217. Узнадзе 2004 — Узнадзе Д.Н. Общая психология / Дмитрий Николаевич Узнадзе / [пер. с грузинского Е.Ш. Чомахидзе; Под ред. И.В. Имедадзе]. — М.: Смысл; СПб: Питер, 2004. — 413 с.: ил.
218. Уорф 1960 — Уорф Б.Л. Наука и языкознание (О двух ошибочных воззрениях на речь и мышление, характеризующих систему естественной логики, и о том, как слова и обычаи влияют на мышление) / Б.Л. Уорф. // Новое в лингвистике. Вып. 1. — М.: Изд-во иностранной литературы, 1960. — С. 169–182.
219. Уорф 1960¹ — Уорф Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку / Б.Л. Уорф. — Новое в лингвистике. Вып. 1. — М.: Изд-во иностранной литературы, 1960. — С. 135–168.
220. Фарбер, Бетелева 1985 — Фарбер Д.А. Межполушарные различия механизмов зрительного восприятия в онтогенезе / Д.А. Фарбер, Т.Г. Бетелева // Сенсорные системы. Сенсорные процессы и асимметрия полушарий. — Л.: б. и., 1985. — С. 127–136.
221. Фирсов 1987 — Фирсов Л.А. Высшая нервная деятельность человекообразных обезьян и проблема антропогенеза / Л.А. Фирсов // Руководство по физиологии: Физиология поведения: Нейробиологические закономерности. — Л.: Наука, 1987. — С. 639–711.
222. Фортунатов 1964 — Фортунатов Ф.Ф. Сравнительное языковедение (Извлечения) / Ф.Ф. Фортунатов // Звегинцев В.А. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. — [3-е изд., доп.]. — Ч. I. — М.: Просвещение, 1964. — С. 238–262.
223. Фрэйзер 2003 — Фрэйзер Дж.Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии / Джеймс Джордж Фрэйзер / [пер. с англ. М.К. Рыклина]. — М.: ООО «Издательство АСТ»; ЗАО НПП «Ермак», 2003. — 781 с.
224. Хелимский 1990 — Хелимский Е.А. Индейские языки / Е.А. Хелимский // Лингвистический энциклопедический словарь / [гл. ред. В.Н. Ярцева]. — М.: Сов. Энциклопедия, 1990. — С. 176–177.
225. Хокинг 2001 — Хокинг С. Краткая история времени: От большого взрыва до черных дыр / Стивен Хокинг / [пер. с англ. Н. Смородиной]. — СПб: Амфора, 2001. — 268 с.
226. Хоккет 1970 — Хоккет Ч.Ф. Проблема языковых универсалий / Ч.Ф. Хоккет // Новое в лингвистике. Вып. 5. — М.: Иностранная литература, 1970. — С. 45–76.

227. Хомский 2005 — Хомский Н. О природе и языке. С очерком «Секулярное священство и опасности, которые таит демократия» / Ноам Хомский. — М.: КомКнига, 2005. — 288 с.
228. Цейтлин 2009 — Цейтлин С.Н. Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи / Стелла Наумовна Цейтлин. — М.: Знак, 2009. — 362 с.
229. Цейтлин 2000 — Цейтлин С.Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Стелла Наумовна Цейтлин. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. — 240 с.
230. Черных 1962 — Черных П.Я. Историческая грамматика русского языка / Павел Яковлевич Черных. — [3-е изд.]. — М.: Учпедгиз, 1962. — 376 с.
231. Чернышев 1970 — Чернышев В.И. О нарушении согласования в русском языке / В.И. Чернышев // Чернышев В.И. Избранные труды в 2-х т. — [сост. А.М. Иорданский, В.Г. Костомаров, И.Ф. Протченко]. — Т. 1. — [вступит. статья акад. В.В. Виноградова]. — М.: Просвещение, 1970. — С. 194–210.
232. Чернышев 1970¹ — Чернышев В.И. Правильность и чистота русской речи. Опыт русской стилистической грамматики / В.И. Чернышев // Чернышев В.И. Избранные труды в 2-х т. — [сост. А.М. Иорданский, В.Г. Костомаров, И.Ф. Протченко]. — Т. 1. — [вступит. статья акад. В.В. Виноградова]. — М.: Просвещение, 1970. — С. 443–641].
233. Чикобава 1967 — Чикобава А.С. К вопросу о взаимоотношении мышления и речи в связи с ролью коммуникативной функции / А.С. Чикобава // Язык и мышление. — М.: Наука, 1967. — С. 16–30.
234. Шапиро 1953 — Шапиро А.Б. Очерки по синтаксису русских народных говоров. Строение предложений / Абрам Борисович Шапиро. — М.: Изд-во Академии наук СССР, 1953. — 318 с.
235. Шафф 1963 — Шафф А. Введение в семантику / Адам Шафф / [пер. с польск.]. — М.: Издательство иностранной литературы, 1963. — 376 с.
236. Шахматов 1941 — Шахматов А.А. Синтаксис русского языка / Алексей Александрович Шахматов. — Л.: Учпедгиз, 1941. — 606 с.
237. Шлейхер 1964 — Шлейхер А. Компендий сравнительной грамматики индоевропейских языков (Предисловие) / А. Шлейхер // Звегинцев В.А. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. — [3-е изд., доп.]. — Ч. I. — М.: Просвещение, 1964. — С. 107–110.
238. Шпет 1996 — Шпет Г.Г. Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы / Густав Густавович Шпет. — Томск: Изд-во «Водолей», 1996. — 191 с.
239. Шульговский 2003 — Шульговский В.В. Физиология высшей нервной деятельности с основами нейробиологии / Валерий Викторович Шульговский. — М.: Академия, 2003. — 464 с.
240. Шэффер 2003 — Шэффер Д. Дети и подростки: Психология развития / Дэвид Шэффер. — [пер. с англ. А. Богачев, С. Комаров, И. Малкова, О. Орешкина, А. Попов, В. Романенкова, Т. Смолянская, Д. Цирулев]. — СПб.: Питер, 2003. — 976 с.: ил. — (Мастера психологии).
241. Щерба 1957 — Щерба Л.В. Литературный язык и пути его развития (применительно к русскому языку) / Л.В. Щерба // Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. — М.: Учпедгиз, 1957. — С. 130–140.
242. Эльконин 2005 — Эльконин Д.Б. Детская психология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Даниил Борисович Эльконин / [ред.-сост. Б.Д. Эльконин]. — [2-е изд., стер.]. — М.: Издательский центр «Академия», 2005. — 384 с.

243. Эриксон 1993 — Эриксон Э. Детство и общество / Эрик Эриксон / [пер. с англ. С.Ю. Бильчугова]. — Обнинск: Принтер, 1993. — 56 с.
244. Якубинский 1953 — Якубинский Л.П. История древнерусского языка / Лев Петрович Якубинский / [предисл. и ред. В.В. Виноградова; Прим. П.С. Кузнецова]. — М.: Гос. уч.-пед. изд-во Министерства просвещения РСФСР, 1953. — 368 с.
245. Barber, Peters 1992 — Barber E.J.W. Ontogeny and phylogeny: What child language and archaeology have to say to each other / E.J.W. Barber, A.M.W. Peters // The evolution of human language: Santa Fé studies in the science of complexity / Ed. by Hawkins J.A., Gell-Mann M. — Redwood City, CA: Addison-Wesley, 1992. — P. 305–351.
246. Corballis 2002 — Corballis M.C. From Hand to Mouth: The origins of language / Michael C. Corballis. — Princeton: Princeton Univ. Press, 2002. — XII, 257 p.
247. Deacon 1997 — Deacon T. The symbolic species: The co-evolution of Language and the brain / Terrence Deacon. — N. Y., L.: W.W. Norton & Company, Inc., 1997. — 527 p.
248. Pawley 1991 — Pawley A. Saying things in Kalam: Reflections on Language and Translation / A. Pawley // **Man and a half: essays in Pacific anthropology and ethnobiology** in honour of Ralph Bulmer. — Auckland: Polynesian Society, 1991. — P. 432–444.
249. Pruets, Bertolani 2007 — Pruetz J.D. Savanna chimpanzees, Pan troglodytes verus, hunt with tools / J.D. Pruets, P. Bertolani // *Current Biology*. — 2007. — Vol. 17. — Issue 5. — P. 412–417.
250. Read 2008 — Read D.W. Working Memory: A cognitive limit to non-human primate recursive thinking prior to hominid evolution / D.W. Read // *Evolutionary Psychology*. — 2008. — Vol. 6. — P. 676–714.
251. Tomasello 2003 — Tomasello M. Constructing a Language: A usage-based approach to language acquisition / Michael Tomasello. — Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003 — 388 p.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

СВ — синкретичное восприятие;

ПВ — поверхностное восприятие;

АИВ — альтернативно-императивное восприятие;

АДВ — альтернативно-диспозитивное восприятие;

НКРЯ — Национальный корпус русского языка.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	4
Вместо введения. Языковая эволюция, синтаксическое согласование и смежные науки.....	5
Глава 1 Логическое мышление и грамматика ребенка: синкретизм, поверхностность и альтернативность восприятия	18
Глава 2 Первобытное логическое мышление и некоторые сведения о первобытных грамматиках: синкретизм и поверхностность как предельные степени восприятия	56
Глава 3 Рудименты синкретичного и поверхностного восприятия в современных цивилизованных обыденных и лингвистических представлениях	79
Глава 4 Эволюция восприятия форм синтаксического согласования в истории русской грамматики: <i>per aspera ad alternationem</i>	106
4.1. Явления древнерусского синтаксического согласования, не сохранившиеся в современном русском литературном языке.....	106
4.2. Согласование в числе с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием	111
4.3. Согласование русского предикативного имени с подлежащим	117
4.4. Согласование в числе препозитивного сказуемого с однородными подлежащими	119
4.5. Согласование в числе сказуемого с сочетанием именительного и творительного общности.....	121
4.6. Согласование в числе сказуемого в придаточных, относящихся к словам <i>все</i> и <i>те</i> в составе главных предложений.....	122
4.7. Согласование в роде с субстантивом, обозначающим профессию (должность, род занятий).....	126
4.8. Согласование в числе атрибутива с однородными субстантивами и субстантива с однородными атрибутивами	127
Заключение.....	130
Литература	132
Условные обозначения	148

Наукове видання

Попов Сергій Леонідович

**КОГНІТИВНІ ПІДСТАВИ ЕВОЛЮЦІЇ
ФОРМ РОСІЙСЬКОГО СИНТАКСИЧНОГО
УЗГОДЖЕННЯ**

Монографія

(російською мовою)

За авторською редакцією

Підписано до друку 22.02.2013
Формат паперу 60x84/16. Папір офсетний.
Умов. друк. арк. 9,125.
Наклад 300 прим. Замовлення № 45/02-13

Видавництво «НТМТ».
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців
ДК № 1748 від 15.04.2004 р.
61072, м. Харків, пр. Леніна, б. 58, к. 106.
Тел. (057) 763-03-80, 763-03-87.
E-mail: ntmt@mail.ru